

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Отряды Бланка

Никто и не думает, что Бланк первым бросил вызов всевластию вещей. Будда, Диоген, Сократ — нестяжатели всех времен и народов, не так уж и мало было их в истории человечества. Сам полигон истории, на котором прошли испытания многие тысячи глупостей и безумств, время от времени становился пробной площадкой для обкатки практик далекого будущего. Они, эти практики, впоследствии органично вплетались в социальную и психологическую ткань человеческого присутствия в мире, но в момент первого предъявления казались порождением абсурда — собственно, они и были абсурдом по отношению к их актуальному настоящему. Ведь подлинный смысл опережающих свое время практик требовал синтеза целой суммы обстоятельств, которых современники не могли даже представить. Условия производства будущего не изменились: иногда успех зависит от идеологического и теоретического оснащения практикующих, хотя у практик, избираемых будущим, далеко не всегда бывают лучшие прижизненные теоретики. Чаще духовный лидер уже свершившегося «будущего» дает ретроспективную санкцию *преступным* или *бесмысленным* течениям прошлого — так Фрейд вольно или невольно реабилитировал либертенов де Сада, дав отмашку их философскому оправданию.

Но еще чаще повторение в новых условиях или, лучше сказать, возобновление в более подходящее, благосклонное время отвергнутого в прошлом опыта решительно меняет знаки на противоположные и расставляет точки над *М*». Вот, казалось бы, заведомые аутсайдеры, *двоечники*, не усвоившие уроков истории, принимаются за прежнее (вновь принимаются за свое) — и результат оказывается ошеломляющим. Как у старика из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»: «В третий раз закинул он невод...» И попалась золотая рыбка, а то все невод приходил с одной тиной да с травой морской...

Идеи Бланка как будто выловлены неводом из разрозненного опыта человечества. Сам собой выстроился ряд исторических предшественников, от Чжуан-цзы и уже упоминавшегося Диогена до безвестных участников движения хиппи. Выявилось и решающее отличие новых нестяжателей от большинства прежних непримиримых критиков вещизма. Те были аскетами в традиционном смысле слова, пытавшимися своими аскетическими уловками перехитрить мир. И главная уловка была, в сущности, проста: предлагался надежный способ избежать грядущих неприятностей. Ведь каждый человек может впасть в нужду и запросто лишиться своего драгоценного имущества. Но если заранее, добровольно лишить себя всего, неприятности пройдут незамеченными: в каком-то сравнительном смысле они могут даже дать повод для злорадства. Для Бланка дело изначально обстояло совсем не так: избавление от гнета вещей отнюдь не рассматривалось как возможность позлорадствовать, сравнивая свое предусмотрительно избранное *плохое* с постигшим остальных *очень плохим*. Радость ухода от всеобщей потребительской озабоченности была вполне самодостаточной.

Или взять нищенствующих монахов Средневековья, проповедовавших нестяжание. Внешне они во многом походили на сегодняшние коммуны бланкистов — например, умелым избеганием расставленных повсюду ловушек *производительного труда*. Но внутренняя установка у большинства из них была иная. Они выбирали страдания, рассчитывая на последующую награду, порой даже имеющую виртуальный потребительский эквивалент (райские кущи и прилагающиеся к ним аксессуары). Но даже

если такой эквивалент отсутствовал и выбор был именно выбором, а не простым следствием беспросветной нужды, он все же влек за собой *тяготы*, которые и воспринимались как тяготы, в духе крестного пути. Бланк и его сподвижники — Гелиос, Колесо, Федр — открыли и донесли до своих последователей непосредственную радость *активного нестяжания*. Одна из причин, возможно, состояла в том, что XX век сделал слишком явными тяготы обладания, *потребительская корзина* стала такой тяжелой, что для ее перетаскивания требовалось уже напряжение всех сил или, лучше сказать, всех способностей, включая способность воображения.

Хиппи, ближайшие предшественники новых нестяжателей, были знакомы с пьянящей радостью необладания — не-обладания ничем отягощающим в этом мире. Эти длинноволосые парни и девушки знали, что обладание имуществом есть форма подачи со стороны мира, подачи тому, кем обладают. Хиппи избавлялись от имущества не ради чего-то иного, компенсирующего, не ради, например, нетленного имущества, которое можно заработать, работая нестяжателем от звонка до звонка и в поте лица своего пополняя персональный загробный счет, — они расставались с вещами легко и во имя самой легкости. Расставание приводило к обретению, а не к лишенности. Примерно это и имел в виду Бланк, когда говорил, что «легкость содержательнее тяжести». Лишение имущества воспринимается как потеря, и полностью избавиться от этого чувства не удалось никому. Однако потеря эта весьма относительная. Если сохранять бытие-для-себя, не оставляя отпечатков своего «я» на том, чего ты лишаешься, то избавление от груза имущества напоминает скорее катарсис, сброс паразитарного напряжения, опробованный еще греческой трагедией. Лишиться чего-то дорогого значит понести утрату. Но следует проявлять зоркость и внимательность в оценках. Случается ведь иногда лишиться своих болячек, навязчивых симптомов; лишиться груза и навязчивого внимания тех, кто тебя *грузит*, — разве это не значит обрести содержательность более высокого рода, значительно превосходящую содержимое потребительской корзины?

Как выражается Парящая-над-Землей, «отказавшись от имущества, получаешь преимущество». Ничто больше не удерживает тебя на постылом месте, ты открыт всем ветрам иногдаслучаемости. Преимущество дает возможность обрести бытие-для-себя там, где носильщики имущества, согнувшиеся под тяжестью груза, изо всех сил отработывают бытие-для-другого. Роковое равенство, лишаящее нас преимуществ, состоит в смиренной согласии обзаводиться «самовозрастающим скарбом», подчиняясь ранговому распределению, где распределенные равны во всем прочем, кроме занимаемого ранга (имущественного ценза). Бланкисты не участвуют в тяжбе накопления, сохраняя тем самым свое преимущество.

Позитивно-радостный опыт необладания, который хиппи предъявили миру и самим себе, вновь предъявлен к проживанию отрядами Бланка и другими коммунами нестяжателей. Но практика бланкистов включает в себя и долю воинственности, можно сказать, высокой мобилизованности духа — и наоборот, исключает анемичность, свойственную эскапистам 60-70-х годов прошлого века. Ведь вызов, брошенный витринам и рекламным приманкам, всем пьедесталам желанных вещей, не остается без ответа. Его принимают уполномоченные производственного истеблишмента, операторы овеществления — и, принимая вызов, они принимают меры. Ситуация, когда нуждающиеся преследуют тех, кому ничего не нужно, на первый взгляд удивительна, но в то же время, судя по ее исторической укорененности, вполне закономерна. Так, князь Римско-католической церкви высказывали в свое время куда большее раздражение по отношению к нищенствующим монахам, чем по отношению к другим прелатам, состоящим в стяжании. Ибо *преимущество* легких на подъем бродяг способно обесценить имущество целого сословия.

Наконец, нельзя не упомянуть и о японских макаси, «городских хулиганах», добровольных обитателях индустриальных джунглей, пришедших туда еще раньше бланкистов. Они и по сей день сохраняют самые лучшие отношения с отрядами Бланка; многие нестяжательские племена благодарны им за оказанную помощь, ведь макаси были среди первых инструкторов и сталкеров, проявивших заботу о дезертирах с Острова Сокровищ. И макаси, и бланкисты, и шанхайские гусья, и нью-йоркские «пи-эм» («проблеммейкеры») — все они дети Мегалополиса. В то же время по своему жизненному укладу они напоминают примитивные племена, как их описывали этнографы XIX века: со своими обычаями, обеспечивающими адаптацию к среде обитания, с собственными обрядами, включая и обряд инициации, принятый у некоторых общин, с постепенно складывающейся мифологией, лишь незначительная часть которой опирается на письменные источники. Но главное — это безусловная подлинность существования, отличающая и бланкистов, и других нестяжателей от абсолютного большинства подданных мегалополисов, живущих искусственной жизнью в синтетическом пространстве. Мы имеем дело с чудом вторично обретенной подлинности, причем обретенной как раз там, где должны были скопиться самые токсичные отходы цивилизации, где сам *человеческий материал* больше напоминал осадки на коралловых рифах вещей.

Вторично обретенная подлинность и новая культура были созданы пролетариатом урбанистических джунглей, не слишком-то похожим на класс, описанный Марксом. Разумеется, в этот расплав влились и обездоленные в прежнем смысле слова — бомжи, клошары, гастарбайтеры и подобные им аутсайдеры социума, но отнюдь не они составили костяк новой альтернативной социальности. Маркс в свое время говорил о привнесении классового самосознания в рабочее движение извне; в данном случае извне пришла и большая часть участников самого движения. Они просто воспользовались для поселения экологической нишей бомжей-автохтонов, предварительно преобразовав и расширив ее до уровня малой родины. Главное же отличие состояло в том, что отнюдь не отсутствие средств к существованию привело абсолютное большинство нестяжателей в джунгли мегалополисов. «Дезертирство» было осознанным и добровольным, причиной же его стал протест против порабощенности имуществом, против диктатуры потребления, постепенно потребляющей и человеческое в человеке. Вот что по этому поводу говорит сам Бланк.

Слово «говорит» здесь следует понимать в буквальном смысле. Не то чтобы Бланк вообще ничего не писал, подобно Сократу, — в свое время он опубликовал книжку и несколько научных статей, посвященных вопросам геологии. Но после того как Даниил Пленицкий стал Бланком, он, скорее всего, действительно ничего не написал. Скорее всего, поскольку существуют разного рода материалы, авторство которых весьма сомнительно (свою причастность к ним Бланк неизменно отвергал). Впрочем, Бланк вообще отвергал авторство как таковое (как авторствование) — что не удивительно для борца с собственничеством... Как бы там ни было, Большой манифест бланкизма (так называемый «Полный Бланк»), к которому нам еще не раз придется обращаться, представляет собой аудиозапись бесед, коротких монологов и интервью. Итак, о порабощенности имуществом и о праве восстать против порабощения.

БЛАНК. Если у тебя есть какая-то вещь, которая тебе понадобится сегодня или уже нужна сейчас, это одно дело — она у тебя просто есть. Правда, воссоединение с ней может потребовать некоторого труда — это труд просьбы, поиска или замены. То есть наш авантюрный труд в противоположность гнетущему труду графиков и расписаний — но о нем поговорим в другой раз.

Сейчас я толкую о вещах, которые не нужны тебе сегодня и вряд ли будут нужны завтра. А может быть, не понадобятся вообще. Это ими ты порабощен. Вот, например,

побрякушка, которая пока еще только в витрине. Ты без нее обходишься, обходился бы и дальше, если бы на каждом шагу тебя ею не дразнили: то в витрине покажут, то в телевизоре,

а то и сосед похвастается... На каждого, в принципе, найдется своя погремушка: кому-то новенький мерс, кому шуба с хвостами, кому мобильник с крылышками. Кому и соковыжималка... И вот жизнь твоя начинает принадлежать этой вещи. Я бы сказал даже, начинает приобретать ее форму. Может, на неделю, может, на месяц, а может, и поболее. Помните сказку Джанни Родари про домик Тыквы? Кум Тыква строил его всю жизнь по кирпичику...

РЕПЛИКА. Вот он и был пролетарием. Бланк. Это сказка о пролетариате. Если разобраться, мы ведь такие же Тыквы, разве нет?

БЛАНК. Что ж давайте разберемся с Тыквой. Это, скажу я вам, был настоящий овощ. Он думал, что поработен синьором Помидором и прочими авокадами, у которых больше имущества. То есть Тыква считал, что его главная беда в нехватке имущества, — овощам свойственно так думать. Но как раз имущество и поработает, не важно, есть оно у тебя или нет. Чем больше у тебя имущества или чем больше тебе его не хватает (а это практически одно и то же), тем сильнее ты поработен.

Ведь где-то и как-то кум Тыква жил, грелся на солнышке, с соседями разговаривал и с первыми встречными. Возможно, он был бы даже счастлив, если бы не думал о своих будущих хоромах. Но проклятый домик стал ловушкой, ядом, отравившим всю его жизнь. Благодаря этой коварной ловушке Тыква жил тем, чего у него нет, а не тем, что у него есть.

ЕВА КУКИШ. Бланк, мне с самого детства было так жаль Тыкву, что у него нет даже домика... Он, бедняга, о домике только и мечтал, собирал по кирпичику...

БЛАНК. Так вот. Настоящее угнетение состоит не в лишении средств к существованию, а в лишении средств к воображению. Тебя заставляют тратить драгоценную силу воображения на сборку детского конструктора из кубиков: сначала домик по кирпичику, потом автомобиль по винтику, потом карьера по ступенькам, а в промежутках — любовь по подачкам и свобода урывками. Допустим, очередной овощ замечает, что любовь, дружба или свобода не складываются на манер детского конструктора. Что ж, тогда он переключается на то, что поддается поэтапной сборке, благо что в этом деле нет порога насыщения. Построил домик — строй яхту, яхту построил — строй деловую репутацию: всегда найдется, чем заняться. Стоит, наверное, пожалеть кума Тыкву, но надо правильно жалеть. Пролетариат победит, когда вооружится правильной формой сострадания. А экспроприация жлобов увенчается успехом, если начнется с собственного имущества. Настоящая экспроприация — это не перераспределение дефицитных благ, а свержение их диктаторской власти, выход из-под ига вещей.

Любопытно, что теоретики и критики общества потребления всегда мирно уживались друг с другом. Пожалуй, теоретикам платили даже больше. Впрочем, прямых апологетов вещизма среди теоретиков и философов не попадалось вообще — это сейчас они появились в некотором количестве (как раз потому, что оболочка всеобщей буржуазности впервые дала трещину). Реальными дистрибьюторами имущественной жажды были рекламные агенты, но и они могли нормально справляться со своей работой, только если обладали изрядной долей цинизма. Остатки могучей протестантской этики, описанной некогда Максом Вебером, в XX веке окончательно испарились, однако и под сенью философской критики стяжание уверенно оставалось господствующим мотивом, как и потребление порнографии под сенью морализаторства. Бланкисты во главе с самим Бланком внесли новое не в теоретическое изобличение вещизма (а что нового внес

Иисус в теорию искупления?) — притягательность принципов Бланка вызвана самозабвенностью жизни в соответствии с этими принципами.

Взять хотя бы знаменитый принцип «бытия перпендикулярно ходу вещей», или, как сейчас его называют, *бытия-поперек*. Когда художник Колесо, друг и сподвижник *Бланка*, ввел обыкновение не пользоваться дверью, навещая знакомых и входя в собственное жилье, он вовсе не искал оригинальности ради оригинальности. Забираясь по веревочной лестнице в окно, ты, конечно же, подвергаешься повышенной опасности, но едва ли эта опасность превышает ту, что поджидает тебя за рулем автомобиля. Мы, однако, принимаем эту опасность как должное, да еще и покупаем билеты на самолет, не спешим отказываться от сигарет и *алкоголя*. Бытие в опасности подобает человеку, оно позволяет сохранить подлинность надежнее самых умных книг.

Стало быть, неудобства веревочной лестницы (а то и простой веревки с узлами) еще не повод для того, чтобы маниакально входить и выходить через дверь. Бездумный потребитель извлекает из приобретаемых вещей только стереотипные кванты полезности, не подозревая, что в них может содержаться и нечто более интересное, иногда даже вход в один из параллельных возможных миров. Чтобы этот параллельный мир открылся, бытие в прежнем, истоптанном мире должно быть выстроено перпендикулярно.

Вот и веревочная лестница открывает красоту вертикальных пейзажей, целую палитру оттенков недоумения случайных прохожих и обитателей других окон (сейчас, правда, недоумение притупилось), да и встреча в результате оказывается более радостной и насыщенной. «Случайные посетители попадают к нам преимущественно через дверь, — говорит Колесо, — но тот, кто тебя действительно хочет видеть, не остановится перед маленькими трудностями бытия-поперек».

Если выход из дома так или иначе продиктован имущественной проблемой — желанием нечто приобрести или страхом чего-то лишиться, тогда путь неизбежно пролегает по протоптанным дорожкам. А город в своей реальности попросту исчезает из виду.

Кажется, что нет ничего более очевидного и даже навязчивого, чем реальность города; давление этой реальности таково, что к вечеру большинство горожан напоминают выжатые лимоны, и лишь сон, оранжерея свежих порослей времени, воспроизводит к утру очередную порцию исходного материала для гигантской Соковыжималки. В своей ежедневной данности город состоит из площадей, улиц, движущихся и неподвижных препятствий — его пространство осязаемо на уровне пресловутого чувства локтя. Будничность, скученность, теснота, озабоченность преобладают в самовосприятии современного Города, оттесняя на задний план и «градостроительную концепцию», и исторические образы. Город есть прежде всего территория, где проходит суетная жизнь смертных; *чтобы* представить его в ином качестве, необходима уже дистанция. Дистанция праздности, длительной или мимолетной отвлеченности от повседневных дел.

Следует отметить, что однородная функциональность городской среды является результатом активного забвения, следствием ежедневно возобновляемого усилия. Социум *заинтересован*, хотя бы во имя производящей экономики и прозрачной политики, в глубоком внедрении иллюзии рационального и однородного городского пространства. В результате нам *кажется*, что все здания равноправны подобно физическим объектам, все направления равнодоступны, и при необходимости мы можем посетить любое «присутствие», мимо которого сейчас проходим. На деле абсолютное большинство «интерьеров»

и даже направлений закрыто для нас. Да, каждый дом имеет свое *внутреннее*, но нас там не ждут. И каждый маршрут имеет неограниченное множество смыслов, однако они нам неведомы, они еще более далеки от нас, чем множество «иных возможных миров» Лейбница.

Фактически наши повседневные маршруты разворачиваются в одной или в нескольких плоскостях, они принудительны, как траектории электронов, вращающихся вокруг атомного ядра. Иногда столкновения «элементарных частиц» выбивают электрон с орбиты, и тогда мы устремляемся по цепочке приключений и непредсказуемых трансформаций, гораздо больше напоминающих мир Кафки, чем Александра Дюма. В таких случаях порой можно обнаружить и город мертвых, и город отвергнутых, город абсолютно незнакомых или неузнаваемых улиц, даже если на одной из них находится (только вчера находился) наш собственный дом и плоскость привычных перемещений. Чтобы почувствовать привкус этой грозной мистики Мегалополиса, не обязательно спускаться в подземелье или выходить на крышу — достаточно сбиться с маршрута, слишком радикально уклониться в чужие присутствия.

Такова истинная многомерность города, а не иллюзорная трехмерность его служебной среды, тонкой поверхности повседневного наваждения. Понятно, что без сталкера, без надежного проводника немногие решатся на отклонение от стандартных траекторий. Если жизнь не *выбьет из колеи*, элементарные частицы упорядоченными потоками пронизывают незнакомые города по туристической плоскости, а свои собственные — по стационарным орбитам.

Но есть еще город, в котором живу *лично я*. Случайным образом он называется точно так же, как и тот, в котором живут мои соседи, однако это другой город. Он состоит из открытых для меня (иногда только для меня) присутствий, куда никто не сможет попасть без моей визы, а если даже случайно и попадет, все равно ничего не обнаружит. Персональный Петербург, персональная Москва или Прага принципиально недоступны первому встречному, ибо их видимая часть это даже не верхушка айсберга, а абстрактная схема, не поддающаяся расшифровке без кода личного доступа. Персональный город принадлежит внутреннему миру, его тщательно охраняемой сокровищнице. Как все сокровенное, он имеет и глубокий эротический смысл.

Вот влюбленный объясняется в любви своей возлюбленной. Он предлагает разделить (и объединить) лучшее, что у него есть: любимую музыку, книги, интеллектуальные и духовные предпочтения, воспоминания и впечатления детства. Наконец он произносит: «Хочешь, я подарю тебе свой город?» — и его избранница, даже если она живет в соседнем доме, будет потрясена роскошностью и неожиданностью подарка; ее непременно ждет *сюрприз*, если мы вообще что-то называем сюрпризом. Подарка хватит надолго, может быть, на всю любовь (это как раз зависит от богатства внутренних миров и дарителя, и того, кому дар адресован). Уклонение от траектории будет уже не цепочкой кошмаров, а сказкой странствий, как тысяча и одна ночь, спроецированная из смутного воображения в гиперреальность.

Именно нестяжатели живут в городе по-настоящему, с той же мерой подлинности, с какой жили апачи в прериях и эскимосы в тундре. Для них город разворачивает множество своих измерений. Рэй Нилли, поэт, программист и лидер нестяжателей Гибралтара, для описания ситуации прибегает к компьютерной метафоре. В его терминологии Мегалополис — это компакт-диск, намагниченный притяжением вещей-приманок. Благодаря этому в нем помещаются миллионы пользователей и пользоносителей, но помещаются лишь потому, что они свернуты, *сжаты* в стандартной форме. По отношению к «новым стандартным индивидам» диск заполнен, его файловая система содержит ограниченное количество имен — вот и приходится ждать, когда освободится одна из позиций. Но для *объектов, не являющихся стандартными*

*пользоносителями*, которые в силу этого неопределимы для Читающего Устройства, всегда остается более чем достаточно места в межфайловой неформатированной среде. Компакт-диск Мегаполиса открыт для практикующих перпендикулярное бытие; более того, в этой «директории» он практически безлюден.

Превратности стандартизации, без которых немислимо общество потребления, достаточно подробно исследованы философами. Вспомним хотя бы знаменитую «Диалектику Просвещения» Адорно и Хоркхаймера: «Стандарты якобы изначально установлены в соответствии с потребностями потребителей и потому принимаются почти без сопротивления. Но не все так просто, на самом деле имеет место замкнутый круг или затягивающаяся петля: ответная реакция потребителей провоцируется манипуляциями с неопределенными естественными запросами. Тем самым единство системы становится все более плотным, она включает в себя в том числе и изделия культурыиндустрии, сделанные по образу и подобию прочих товаров. Самим потребителям уже более не нужно классифицировать ничего из того, что оказывается предвосхищенным схематизмом производства».

Потребительский схематизм воплощен и в городских маршрутах, и в разметке самого Времени Циферблатов. Это стандартное, отформатированное время графиков и расписаний, ему беспрекословно подчиняются стандартные индивиды, но сторонники бытия поперек, как правило, вообще не обращают на него внимания. Им абсолютно чужда *всеобщая экономия времени*. Нестыжатели знают, что кратчайший путь к успеху, в соответствии с которым и устроена идеальная разметка городов, это путь неоправданных лишений. Следующий этим путем лишается свежести впечатлений, многомерность мира безвозвратно пропадает для него, сменяясь декорациями, где бутафорские интерьеры и реквизиты неизменно повернуты к субъекту лишь одной, имущественной стороной. Стало быть, этот путь лишений — результат добровольно-принудительного имущественного рабства. Он предназначен для того, чтобы вместить максимальное количество индивидов в дисциплинарные рамки цивилизации.

\* \* \*

Бланк, в миру Даниил Пленицкий, родился в семье военнослужащих. По каким-то необъяснимым причинам он закончил географический факультет Петербургского университета и стал геологом. Участвовал в экспедициях, которые к тому времени были уже *не в моде*, — таежный костер, рыбалка на Ангаре, туманы-рассветы и прочие аксессуары стали тогда обычными, даже скорее досадными обстоятельствами работы, утратив вкус приманки, способной вызвать специфический трепет души. Два сезона Бланк провел в Антарктиде, что коренным образом изменило его дальнейшую жизнь: именно в Антарктиде родилась идея мимигатора — прибора, оказавшего заметное влияние на постиндустриальную цивилизацию в целом. К этой странице его биографии мы еще вернемся.

Здесь, на удаленной от всего мира антарктической станции, среди вечных льдов и ландшафтов, не менявшихся миллионы лет, Даниил понял, что человеческая подлинность, так сказать естественное первородство человеческого существа, отнюдь не привязано к каким-то определенным декорациям, будь то джунгли Амазонии, австралийские пустыни, степи и предгорья Монголии или тундра Чукотки. Конечно, в свое время именно там любознательные этнографы заставляли незатронутых цивилизацией аборигенов. Но, увы, эти встречи не прошли безнаказанно для *детей природы*, превратив их в собственные живые чучела. Зато, с другой стороны, в городах, прежде всего в мегаполисах, образовались *вторичные урбанисти-геасие джунгли*, где обитают дикари сегодняшнего дня. Их ряды все время пополняются, и есть основания полагать, что новая антропогенная революция не за горами.

Кто мог тогда предположить, что Бланк будет иметь к этой революции самое непосредственное отношение? Время, однако, выбрало своего героя, соучастника нового замеса социальности похожего на пахтание первичного Океаноса грандиозной мутовкой Брахмы. Прежде всего нужно, чтобы все смешалось, потом неослабевающее усилие отделит твердь от мути.

Следует иметь в виду, что самозарождение жизни, так же как и самозарождение социальности, это отнюдь не одноразовые акции, а постоянно идущие процессы. Просто устойчивые, доминирующие формы легко заглушают робкие побег претендентов на бытие. Однажды выбранная реализованная альтернатива имеет огромные преимущества перед иными версиями сущего и происходящего. Даже если потенциально другие возможные миры способны справиться с вызовами, явно непосильными для существующих биологических или социальных структур и сообществ, сама инерция существования, само счастье реализованного! позволяют заглушать пробные версии нового бытия, даже не замечая этого. Знаменитый «левосторонний поворот» всех органических молекул в принципе ничем не лучше потенциально равнозначного правостороннего поворота, но он однажды свершился, и с тех пор все живое строится из левосторонних молекул.

И тем не менее спонтанное самозарождение всегда существует как неустранимый фоновый процесс. Когда реализованные, устоявшиеся формы накапливают солидный стаж существования, их обязательно разъедает *коррупция* в самом широком смысле этого слова. Латинский термин *corruptio* указывает на неизбежный износ любого идеала или прекрасного замысла в процессе его «эксплуатации» — таков, можно сказать, удел всякого овеществления. Удаленность от исторической сцены или неразборчивость рабочего сценария в связи с его прогрессирующей «затертостью» дают шанс реализации для новых версий социальности.

Все эти условия совпали к концу XX столетия, породив новые антропогенные площадки в крупнейших центрах урбанистической цивилизации. В самых разных местах начался пробный синтез бесконечно откладываемого будущего.

\* \* \*

Стартовав из многих точек сразу, синтез шел на встречных курсах; расширенное воспроизводство пробных *нестыжательских практик* продолжается и сегодня. Так, например, еще к концу прошлого столетия относится широкое распространение *фанфика* (от *англ.* fan fiction) — дописывание бестселлеров их анонимными поклонниками. Довольно скоро эта альтернативная мифологизация достигла уровня, сопоставимого по своему накалу с религиозным творчеством в Палестине во времена зарождения христианства. Новые мифы фанфика, при всей их призрачности, кажущейся несерьезности и легковесности, инициировали процесс вторичного тотемизма, ведущий к новой идентификации племен. Как некогда люди Ворона, Койота, Попугая или Крокодила обретали гарантии единства и сплоченности в своем тотеме, так и теперь люди Фродо, Нео, Дракулы, джедаи, хоббиты и суперанималы активно использовали инструмент круговой взаимоидентификации, добиваясь, чтобы их не спутали с кем-то другим. Облако химерных идентификаций спустилось на большие города подобно туману, смазав контуры привычных отождествлений и внеся помехи во встроенные системы распознавания «свой — чужой». Сгустившийся туман, безусловно, способствовал многочисленным «обознатушкам», и игра в прятки довольно быстро перешагнула порог детской забавы — вступившему в жизнь поколению стало ясно, что совсем не обязательно автоматически становиться австралийцами, шведами или венграми: избранный тотем мог обеспечить меру признанности, достаточную для человеческого существа.



В преддверии новой антропогенной революции распространились и другие летучие формы социальности, например flash mob. «Мгновенная», или «молниеносная», толпа стала идеальной площадкой для социального творчества, формированием удивительно сплоченного «единства по случаю», о котором великие проповедники прошлого не могли даже и мечтать. Главная особенность молниеносной сборки ситуативного социального тела состоит в преимуществе повода над причиной. Срабатывает встроенный датчик случайных чисел, источник человеческой свободы, и на мгновение размыкается круг рутинной причинности. С точки зрения основных мотивов, которыми управляются господствующие структуры социальности, акции flash mob необъяснимы. Именно это сделало со временем *flash-мобилизацию* важнейшей стратегией нестяжательских племен. Впрочем, с самого начала лучшие, наиболее эффективные акции flash mob не имели отношения к «большим социальным темам».

Шествие по Берлину десятков тысяч молодых людей в одежде с оторванным левым рукавом произвело ошеломляющее впечатление. Никаких социально-протестных причин оторвать левый рукав не было — что и подчеркивали с искренней радостью все участники этой грандиозной *flash-мобилизации*. Недоумевающие зеваки то и дело спрашивали: «Что вы хотите этим сказать?» — и вопросы такого рода встречались лишь раскатами смеха.

«Мы ничего специального не хотим вам сказать, мы просто дружно оторвали левый рукав, все до единого», — нечто подобное можно было услышать в ответ. Подразумевалось, что «как раз в этом и состоит наша сила, в этом источник неподдельного энтузиазма».

И действительно, сила была именно в этом. Рациональность политического действия, вроде бы выражающего интересы классов, партий и групп, давно уже осталась в прошлом, текущая политика воспроизводила лишь вялую, фальшивую игру. Любая инициатива, любой жест, проходя сквозь политическое измерение, неумолимо утрачивали свою подлинность, безотносительно к имеющемуся содержанию и уж тем более безотносительно к субъективным благим намерениям. В конце концов в постиндустриальном обществе сформировался авангард, обладающий иммунитетом ко всяким проявлениям политической активности вообще. И особенность этого авангарда была в том, что он отнюдь не состоял из сырых, убогих и обездоленных — он в принципе мог бы претендовать на роль политической элиты. Но выбрал иную участь.

Рукав, оторванный просто так, во имя красоты жеста, чистой радости ради, был воплощением первозданности творчества. Данный жест не обслуживал сферу чьих-то интересов, он являлся коллективным резонатором социального тела, только что рожденного в этом резонансе. Тело могло легко распадаться на атомы в тот самый момент, как только оно само себе наскучит. Никаких закрепляющих институций не предполагалось, flash mob оказался реактором чистой, неподдельной, хотя и кратковременной социальной активности, скорее даже именно вспышкой в точном соответствии с английским словом «flash». Поначалу, разумеется, политический истеблишмент попытался использовать энергию мгновенного социального синтеза в своих интересах, и казалось, что первые попытки увенчались успехом. В начале XXI столетия по Восточной Европе и Центральной Азии прокатилась волна «флэшеподобных» революций, начавшаяся с Грузии и Украины. Подавляющее большинство собиравшихся где-нибудь на центральной столичной площади людей не имело представления о политической подкладке происходящего: всем вместе размахивать розами, жонглировать апельсинами или «украшать» опостылевшие государственные символы ореховыми скорлупками — это само по себе было здорово. Приятно было получить при этом и какой-нибудь (не столь важно какой) политический результат,

поскольку он являлся производной от персонального праздника — безнаказанность играла тут далеко не последнюю роль.

Но хитрые инициаторы недолго радовались своей уловке — в итоге, как это часто бывает в истории, набравшая мощь стихия обернулась против них самих. Ибо, во-первых, растерянность политических элит в «молодых» государствах скоро прошла, а во-вторых, уже следующий могучий вал паБп-тобилизаций накрыл оплоты учителей демократии — на этот раз удар был направлен против политики как таковой, против ее преувеличенной серьезности. И выяснилось, что изношенные политические инфраструктуры ничего не могут противопоставить азарту и натиску новых исторических сил. Достаточно вспомнить великолепный пер-форманс, организованный посредством пазп-мобилизации несколько лет назад. Тогда собиравшиеся по всей Скандинавии группы веселых жизнерадостных людей каждые два часа в течение десяти минут подпрыгивали на месте. Акция продолжалась всего один день — но она потрясла население этих стран, потрясла в прямом и в переносном смысле. Среди многочисленных последствий акции «Кенгуру» было зафиксировано падение рейтинга теленовостей (что не удивительно, ведь главные новости происходили на улице) и резкое снижение явки депутатов на заседание норвежского стортинга. Очевидная сейчас взаимосвязь событий стала ясна не сразу, потребовался еще ряд вторжений социальной самодеятельности, чтобы сделать уже вполне определенный вывод: акции flash mob, помимо всего прочего, обесценивают формы традиционной политической активности. Бу Фрюденсон (ник Кальмар) справедливо замечает по этому поводу:

«Мы даем убедиться всем желающим, какая скука и тоска зеленая царят в политике. Как, в сущности, нелепы занятия раздувшихся от собственной важности политиканов. Предположим даже невероятное — что и наши занятия столь же нелепы. Но мы, во всяком случае, предаемся им без занудства и оттягиваемся по полной программе. Как приятно и весело смотреть на flash-мобилизованных и как отвратительно на тех, кто втянут в политику».

Кальмар, безусловно, прав: и прямые, и побочные эффекты flash-мобилизации создают зону недоумения, распространяющуюся во все стороны; особенно радикальным выглядит влияние подобных акций на политическую сферу. Парламентские «дебаты» сразу же приобретают неуловимо комический оттенок, а электоральные игры, напротив, лишаются искусственного ажиотажа, молниеносные акции протыкают мыльный пузырь их исключительной важности. В условиях новой, непосредственно, «мгновенно» воздействующей демократии прежние демократические причиндалы выглядят тяжеловесными и безнадежно устаревшими.

Сегодня уже вполне очевидно, что никакие действия и контрдействия в рамках принятых политических правил не могли бы вызвать такого эффекта растерянности элиты и последующей эрозии институтов власти. Ведь любые формы политической борьбы, не исключая и вооруженного восстания, легко укладываются в привычный набор «слишком человеческих», как сказал бы Ницше, устремлений. Тут все понятно: конкуренты преследуют одну и ту же цель, отталкивая от нее друг друга и повышая тем самым ценность желанного трофея. Оттесненные от цели выражают негодование, прибегают к угрозам, при этом взаимная признанность политики как таковой в качестве важнейшего человеческого проявления остается незыблемой — значит, было, есть и будет за что бороться. Другое дело flash-мобилизация с ее оторванными рукавами, с ее подпрыгивающими и потрясающими эффектами — она осмеивает и дискредитирует само бездумно унаследованное целеполагание. Дискредитирует и потребительский фетишизм, куда более мощную доминанту общечеловеческого гипноза. Вспышки flash mob перемещают, пусть на короткое время, командные высоты социальности из сферы

политического в сферу виртуального самозарождения новых модусов самореализации и признанности.

Таким образом, flash-мобилизация изначально разворачивается как бьегие-поперек, что, в свою очередь, является основополагающим принципом бланкизма. Ведь с противодействия инерции потребительства и начиналось движение Бланка. А главной новацией, внесенной Бланком и другими лидерами новых аборигенов, стал переход от виртуальных построений, легко разрушаемых «суровой» реальностью, к экзистенциальной практике.

Как учили в свое время классики марксизма-ленинизма, классовое сознание пролетариата первоначально вносится извне наиболее продвинутыми и радикально настроенными представителями господствующего класса. И лишь после вбрасывания этого кристаллика процесс обособления (самоидентификации) набирает нужную скорость и размах. Отряды Бланка как раз и внесли жесткий каркас навыков радикального противостояния и арматуру теории в стихию спонтанного протеста. Вот что говорит по этому поводу сам Бланк:

*Надо уметь настаивать на своем. Если ты избавился от мании потребительства и сбросил иго вещей на пару дней, да хоть и на пару недель, считай, ты ничего еще не сделал. Ты просто взял отпуск, и по возвращении тебя с новой силой запрягут в ярмо. Ведь одно дело отдохнуть от объятий Боша-Самсунга-Сименса, и совсем другое — избавиться от них. Учитесь опыту сопротивления и не верьте легким победам. Знайте, что вы вышли на тропу войны, поэтому будьте хитры и отважны. Попасть в плен всегда проще простого.*

*Нам следует помнить, что дело не в минимализме желаний и потребностей. Если тебе кажется, что ты обходишься малой толикой имущества, присмотришь, какой ценой тебе это достается. Не дотянулась ли до тебя хватка нехватки? А пригоршня монет, отсутствующих в кармане, не бренчит ли она то и дело в твоём воображении? А прочие погремушки, не заглушают ли они Зов Бытия?*

*Знай, что сила нестяжательства кроется не в терзаниях и лишениях — ее дает бытие-поперек и поддержка твоих товарищей. Бойцы отряда оттачивают свою решимость друг о друга.*

*И еще. Избегай мест, где вещи идут косяком по накатанным трассам потребления, но не чурайся вещей, отбившихся от стаи. Находки, фенечки, подарки, все экологически чистые вещи, не отравленные товарной формой, украсят твой мир.*

Чтобы уяснить важную духовную составляющую отрядов Бланка и всего духовного движения в целом, обратимся к двум цитатам.

«Очень легко не брать взятки, когда тебе их никто не предлагает» (Лабрюйер).

«Философы любят хвастаться тем, что презирают роскошь. На самом деле они лишь отвечают ей взаимностью» (Ибн Зейд).

Неимущий по рождению или лишившийся состояния по несчастью отнюдь не лучший боец антипотребительского фронта. Его не всегда можно даже считать естественным союзником: среди обитателей городского дна нередко встречаются скрытые предатели, замаскированные агенты противоположной стороны. В этом с горечью убедились первые, преисполненные энтузиазма миссионеры, в том числе и отряды Бланка. Имея в виду как раз зависть обездоленных к преуспевающим мира сего, Бертран Рассел высказал свой знаменитый афоризм: «Есть лишь одна категория людей, более жадных, циничных и нечистоплотных, чем богатые. И это — бедные». Субъекты, вынужденные довольствоваться отбросами обменов, отходами метаболизма товаров и услуг, зачастую

поражены вирусом стяжательства в самой тяжелой форме. Если обратиться к одной из любимых метафор Сократа — к зуду как аналогу вожделения, можно сказать, что и богатые, и бедные (в расселовском смысле) страдают от чесотки потребительства. Но страдания бедных на порядок сильнее из-за того, что они лишены возможности расчесывать свою похоть неустанным ежедневным приобретательством. Как бы там ни было, в интенсивной терапии нуждаются и те и другие, при том что способы терапевтического воздействия существенно различаются в зависимости от острой или хронической формы заболевания.

Если присмотреться к имеющимся социальным (и философским) рецептам, можно заметить, что проблема *избывания избытка* окружена целым облаком нравочений и дешевого морализаторства. Увещевания зачастую противоречат друг другу, но фактически они бьют в одну точку. Современное общество санкционирует избывание с помощью потребления, и это естественная идеология всякой товаропроизводящей цивилизации. Повседневной распечаткой такой идеологии как раз и является реклама. В качестве альтернативы мы слышим воззвания к добровольному перераспределению избытка, к благотворительности в самом широком смысле слова. Однако нетрудно заметить, что в обоих случаях *избыток* рассматривается как безусловная ценность. Речь идет лишь о том, как правильно распорядиться этой ценностью — распорядиться так, чтобы и себя не обидеть, и хорошую репутацию поиметь.

В некотором смысле тут рассматриваются различные версии социальной диетологии, исходящие из неустранимости потребительского зуда как такового. Что ж, советы относительно того, какой чесалкой лучше расчесывать зудящие места, не совсем бесполезны. Благотворительность, позволяющая сохранить пристойность и даже благородство телодвижений, — это одна чесалка, массажная щетка, производящая успокоительный массаж. Совсем другое дело — потребление, контрастный душ супермаркетов и рекламных постеров. Душ приводит в чувство и по-своему вдохновляет: уже есть или еще нет? Вот некая вещь — она сначала в витрине, потом в воображении, а потом и в распоряжении. Можно отчетливо ощутить, как здесь задействуется *азарт исследовательского присвоения*, далеко превосходящий скромное обаяние буржуазии. По мере нарастания азарта такое расчесывание переходит в оргию потребления. Более умеренный вариант задействует программу самоуважения, связанную с обладанием той или иной вещью. В обоих случаях общество потребления тщательно следит за расширенным воспроизводством собственных симптомов.

Между тем ясно, что настоящее решение проблемы состояло бы в устранении симптомов вообще, вместе с их причиной. Благотворительность в смысле *творения блага* не имеет ничего общего с перераспределением избытка. Подобным образом творится только зло. Логика дозированного перераспределения увековечивает интенцию стяжательства. По-настоящему избыть избыток значит сбросить избыточный груз. *Обходиться без* значит жить в мире, полном неожиданных опасностей и приключений — но также и азарта, в каком-то смысле превосходящего азарт исследовательского присвоения. В конце концов, если проявить стойкость, открываются все преимущества нестяжательского мира, в том числе и настоящее самоуважение, несопоставимое с самодовольством образцового потребителя. Труднее всего, перейдя порог, сделать несколько шагов вперед не оглядываясь.

И отряды Бланка отважно выступили в поход. В пути воинов-нестяжателей поначалу поджидали горькие поражения. Из них, впрочем, были сделаны выводы, извлечены крупницы драгоценного опыта противостояния. Вот они:

Безальтернативность, невозможность утолить зуд обладания только по причине отсутствия средств не годится в качестве стартовой позиции. Умиротворенное, честное

состояние души придет позже, когда оформится сумма потерь и обретений, когда принесет свои диковинные плоды заявленное бытие-поперек.

Постоянной опасностью является *отложенный соблазн*, причем эта опасность непреодолеваема новыми усилиями депонирования желания. Любые попытки делать из нужды добродетель недолговечны и изначально фальшивы. Превозмочь отложенный соблазн можно только его осуществлением в виде проб и прививок. Предположим, афоризм житейской мудрости «хочу пожить в свое удовольствие» достал тебя — дескать, в гробу я видел ваше *удовольствие*. И вообще, как заметил по сходному поводу Ницше: «Если это прекрасно, то что же тогда отвратительно?» Тебе уже больше невоготу «жить в свое удовольствие», ты выбираешь бытие-поперек. Что ж, *пусти пожить в твое удовольствие* другого, для которого это занятие все еще является отложенным соблазном. Не исключено, что через некоторое время он вновь присоединится к тебе, и тогда ваш союз будет представлять собой несокрушимую силу.

В идеальном варианте все безальтернативщики, вытесненные на дно, должны были бы пройти прививку отложенного соблазна. Пресловутая «путевка в жизнь» отсеет совсем безнадежных, скорее уже мертвых, живущих лишь по инерции. Некоторые впишутся в потребительскую гонку буржуазности, но даже они способны внести разлад в стан врага. Зато вернувшиеся будут прекрасными, закаленными бойцами, настоящими генералами песчаных карьеров.

Имеющийся опыт прививок повсеместно доказал свою действенность.

Преимущество получает тот, кто разделался с имуществом, а не просто его лишился. Ибо пренебрежение к неизведанному недорого стоит в человеческом мире, хотя и является самым обычным делом. Бланк, Колесо, Ричи, Кальмар и многие другие доблестные рыцари нестяжательства принадлежали к кругу обеспеченных людей. Победы, одержанные ими в своих внутренних войнах, помогли организовать достойное противостояние жрецам пользы и корысти.

Ютака Эйто, глава союза нестяжательских племен Хонсю, утверждает, что классические войны во имя стяжания не были самыми безжалостными, но зато они были самыми затяжными и слились в конце концов в одну непрекращающуюся войну. В отличие, например, от войн за веру, честь и самоидентичность, в которых реализуется сценарий смертельного противоборства, целью стяжательских войн всегда было ограбление и взятие в плен, иными словами — порабощение. Конечно, воины Алчности и отряды стяжателей-мародеров участвовали во всех войнах, даже в тех, которые велись за освобождение Гроба Господня. Чаще всего именно они и выходили победителями, навязывая условия мира противоборствующим сторонам. Иногда, впрочем, имущественное решение оказывалось единственным способом остановить войну.

Стяжатели воевали, воюют и будут воевать друг с другом хотя бы уже потому, что война есть самый эффективный способ предотвратить инфляцию их основополагающих ценностей. Какая бы из сторон ни вышла победительницей, принцип стяжательства выиграет в любом случае, ведь то, ради чего воюют, не может обесцениться войной. Только мы, выступившие в поход против самой всепроникающей алчности, способны нанести невосполнимый урон ее марионеткам. И я полагаю, что эта война, уже идущая в стадии увертюры, будет самой удивительной со времен партизанских войн Армии Пророка, когда бен Ладен впервые осознал, что воевать следует не с государством, специально выставленным наружу для отражения военной угрозы, а непосредственно с гражданским обществом. Тогда его соратник Мустафа Хуррари провозгласил: «Пусть неверные считают, что никому не удастся расколоть их крепкий орешек, — нам не нужно даже противиться их заботам и предосторожностям. Мы будем выедать мякоть изнутри, не разбивая скорлупы. Крепкая скорлупа нам самим еще пригодится».

Мустафа был в принципе прав, но чрезмерно самонадеян. Сегодня мы видим, что его лучшие солдаты и полководцы отравились мякотью стяжательства. Всепроникающий вирус вещизма не обошел их стороной. Наша война также развернется внутри гражданского общества — мы уже начали ее. Родная земля придаст нам силы — не важно, что она покрыта асфальтом, бетоном и пластиком, а электрическое солнце освещает наши джунгли чаще, чем натуральное светило. Все равно это наша земля, мы на ней выросли, собрались в племена («сбились в стаи», как говорят апологеты вещизма), научились добывать себе пропитание и выстраивать смысл там, где порабощенные потребители видели только прижизненное кладбище и сталкивались с крушением всех надежд.

Кое-какие особенности этой войны сегодня уже совершенно очевидны. Для ее правильного ведения ничего не дает искусство Макиавелли и Клаузевица, да и стратагемы Сюнь-цзы слишком привязаны к основным мотивам обладания признанными благами. Нам не нужен единый руководящий центр, как не нужен он для участников *flesh-мобилизаций*, поэтому бессмысленны попытки подкупить или обезглавить наше движение. Нестяжателям, вступившим на тропу войны, нет нужды вносить раскол в ряды врагов — последние и без того всегда воевали друг с другом, черпая силу алчности в этом нескончаемом противоборстве. Сейчас они объединяются, столкнувшись с отрицающей их жалкое бытие волей к подлинности. Я полагаю, что нам только на руку этот союз, ибо теперь вещьглоты смогут наконец увидеть все ничтожество того, что их объединяет. Ведь их яблоко раздора — всего лишь муляж. Их фетиши в массовом порядке возвращают назад не востребуемыми. Их «полезные приспособления» высмеиваются практикой бытия-поперек. Объекты потребления, лишившись ауры, создаваемой жадой обладания ими, предстают как использованные. Они *использовались* ровно в том же смысле, в каком про одежду говорят, что она изнасилась. Истинным победителям не нужны трофеи, которые заражены готовыми к прорастанию семенами будущей войны.

Но все же и в нашей войне требуются отвага и выдержка, сноровка и военная хитрость. Знакомство со стратагемами в этом смысле вещь далеко не лишняя. Отвага состоит в том, чтобы пересмотреть кажущуюся неизбежной зависимость принципа наслаждения, фрейдовского **Lustprinzip**, от объектов, получаемых в результате приобретений. Решительно и безоглядно следует изъять этот принцип из-под власти приобретений и наполнить его обретенными.

Выдержка состоит в том, чтобы дождаться, пока принцип наслаждения утвердится на новой для себя территории — ведь мы не сможем выиграть войну, если будем воевать только *против* чего-то. Победа принадлежит тому, кто воюет *за*.

Сноровка — это знание того, как жить, не преумножая потребностей и зависимостей, но и не превращая при этом жизнь в непрерывную борьбу с трудностями. В некотором смысле сноровка представляет собой «знание местности», как раз то, чему можно научиться у городских бродяг, задолго до нестяжателей заселивших соответствующую экологическую нишу. Первым бланкистам тоже сначала приходилось учиться у них и лишь затем друг у друга.

И наконец, военная хитрость — это совокупность всех обесмысливающих практик, яркость перпендикулярного бытия, одновременно сбивающая с толку закоренелых стяжателей и, так сказать, хронических вещьглотов, но при этом и соблазняющая тех, кто еще не успел потерять смысл своей жизни в гонке потребления.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Бытие-поперек: первые опыты

Двадцатый век породил ставшее пословицей сравнение, применяемое для описания нецелесообразного расходования сил и ресурсов: «Это все равно что забивать гвозди микроскопом». Первая публичная акция по заколачиванию гвоздей микроскопами была устроена в Петербурге отрядами Бланка еще лет десять назад. Впоследствии это веселое занятие стало одним из неперенных элементов нестяжательских фестивалей, а для некоторых бланкистских коммун превратилось и в своеобразный ритуал. И хотя сам Бланк долго сопротивлялся ритуализации спонтанных практик перпендикулярного бытия, впоследствии и он махнул рукой, понимая, что без ритуалов племенное единство недостижимо.

Суть бытия-поперек состоит в изымают вещей из привычного потребительского контекста, что, в свою очередь, подрывает священную серьезность стяжательских оргий. Разумеется, если жест изъятия становится системой, рано или поздно товарная форма догоняет его и цепляет свою бирку. Этот трюк в совершенстве освоен капитализмом и является основным источником его силы. Менее совершенные версии потребительского общества так и не научились обращать в товар едва ли не любой брошенный им вызов — неудивительно, что все они оказались на обочине потреблятской цивилизации. Вспомним участь уже упоминавшихся хиппи, предшественников современных нестяжателей: их рваные джинсы и прочий антураж, извлеченный чуть ли не из мусорных свалок, достаточно быстро стал товаром и оказался в витринах, чем, между прочем, был опровергнут тезис Питера Бьюнинга об эксклюзивной неподдельности мусора. Если бы нищенствующие монахи Средневековья нашли заметное число подражателей в наши дни, надо думать, что фирменные вериги появились бы достаточно оперативно.

Можно обратиться и к другим примерам, не относящимся к делу напрямую, но наталкивающим на размышления. Всем известно, что домашние животные *приносят пользу*, скажем, на быках можно пахать, а петухи хороши для супа. При этом петухам иной раз случается подраться, а бык, если его раздражить (даже случайно), набросится на обидчика — казалось бы, обычное «сопротивление материала», которое приходится преодолевать. И вот, как водится (эссе homo), нашлись желающие устроить бытие-поперек, пожелавшие стравливать петухов и дразнить быков — явный вызов автоматическому конвейеру полезного. И что же? Эта поперечная линия, так сказать перпендикуляр противостояния, тут же (в масштабе истории) была развернута параллельно товарным потокам. Более того, именно бойцовые петухи и быки, пригодные для корриды, стали самым дорогим, эксклюзивным товаром... Говорит ли этот пример о неодолимой силе и хитрости жрецов потребления, или он говорит о чем-то другом? Вопрос вполне практический для участников великого противостояния.

Представим себе автомобиль, у которого при случае могут отказать тормоза, — явно негодная вещь, что-то вроде упрямого и яростного быка, не желающего идти под ярмо. Однако если бы нашлись какие-нибудь *рискарбайтеры* (воспользуемся названием одного из нестяжательских племен Австрии и Баварии), которые во имя бытия-поперек ввели бы этот элемент риска в свои машины, как отреагировали бы силы правопорядка? Есть ли гарантия, что после первоначальных запретов и дежурного возмущения не нашлись бы производители, готовые выпускать автомобили, снабженные датчиками случайных чисел для внезапного непредсказуемого отключения тормозов? Такой гарантии нет, ведь и сегодня байкеры, равно как и гонщики-профессионалы, пользуются техникой повышенного риска.

В конце концов придумали бы особые трассы для рискерайтеров, разработали бы специальные защитные устройства, наверняка появились бы журналы и сайты для поклонников «рискованного вождения». При этом нет никакого сомнения, что автомобили с самоотключающимися тормозами стоили бы намного дороже обыкновенных комфортных безопасных машин. С превратностями такого рода с самого начала довелось столкнуться отрядам Бланка. Нестяжателью-воину приходится помнить, что преследователи-вещеглоты всегда дышат ему в затылок.

Но для уныния нет оснований. На стороне воинов нестяжательских племен прежде всего скорость мобилизации. Как говорит Ева Кукиш. «flash mobile — это наш *perpetuum mobile*\*. Овеществление и упаковка в товарную форму фрагмента авангардного бытия требуют определенного времени. Самое длительное время требуется для превращения ситуативных завитков коммуникации в устойчивую социальную связь, то есть для коррекции общепризнанной, освоенной социальной рамки. Принцип мгновенной, лишенной ритуальных жестов коммуникации нестяжателей позволяет им ускользнуть от уподобления вещам. Скорость дает возможность перешагивать через традиционную разметку социальности, не задерживаясь в тех ячейках, куда направлены основные товарные потоки. Немаловажную роль для вынужденного признания суверенитета племен играет и труднодоступность среды обитания новых аборигенов: сегодня, пожалуй, организовать очередную экспедицию в Амазонию или на реку Лимпопо проще, чем хорошо подготовленную вылазку в джунгли Петербурга, Мехико или Чикаго.

К концу XX столетия постиндустриальное общество — или, лучше сказать, капитулировавшая, духовно демобилизованная западная цивилизация добровольно согласилась на черту оседлости. Началось все как раз с мегаполисов, именно там впервые появились «нехорошие районы», в которых нельзя селиться уважающим себя гражданам. Раньше всего своеобразные *гетто для преуспевающих* появились в США, там уже в 80-е годы истеблишмент привык соблюдать границы запретной зоны, перемещаясь из одного гетто в другое по узким коридорам безопасности. Европа, Япония и Россия запоздали на пару десятилетий, но и они в конце концов вступили на тот же путь добровольной сегрегации.

Довольно скоро нехорошие районы стали непригодны не только для *поселения*, но и для посещения. Установились молчаливые правила, согласно которым «нормальный» человек не сунется туда без крайней необходимости, а в темное время суток «закон джунглей» вынуждены признавать и стражи порядка, не покидающие своих патрульных машин при пересечении суверенных земель Осаки или Детройта и старающиеся даже не снижать скорости.

В это же время mass media неустанно провозглашали доступность любого уголка Земли: создавалось полное впечатление, что опутанный туристическими коммуникациями и всемирной паутиной мир совершенно прозрачен. Вот ты смотришь на экран телевизора и видишь, скажем, достопримечательности Таиланда: роскошные базары, не менее роскошные пляжи, притягательные ночные клубы и загадочные статуи Будды. Все это можно увидеть и воочию, достаточно купить тур — покажут все то же самое, без обмана, не сразу заметишь и разницу «картинок». Доступность, однако, ограничивается протоптанными туристическими маршрутами: шаг вправо, шаг влево, и можно влипнуть в неприятную историю, в лучшем случае получить от ворот поворот. Но уже тогда главная черта оседлости была проведена в собственном доме, и огороженные незримой границей нехорошие районы обрели для обывателя тот же статус, который прежде имели кладбища. Не так уж много любителей ночных прогулок по кладбищам среди добропорядочных граждан — вот и идея прогуляться по Бронксу, чикагскому Хэд-ривер или по выборгской промзоне Петербурга вдруг дружно перестала приходиться в голову даже самым любознательным горожанам.



Так черта оседлости, традиционно предназначаемая для того, чтобы «не впускать», впервые заработала в обратном режиме — причем сразу на просторах всей фаустовской цивилизации. Практикуемое бланкистами и другими нестяжателями бытие-поперек включало в себя и бунт против этой добровольно-принудительной черты оседлости. По мере того как социальность Запада, некогда достигшая высот гражданского общества (в масштабе истории это, наверное, ее главное достижение), отступала и скукоживалась, оставляя беспризорные территории, на них, в свою очередь, формировался исключительно благоприятный режим для нового витка антропогенеза. Сюда, в эти обширные лакуны, и устремились волны эмиграции, здесь обрели свой дом и свою родину дезертиры с Острова Сокровищ. Здесь, наконец, они получили закалку и навык побеждать.

Первые преднамеренные опыты бытие-поперек образуют чрезвычайно пеструю картину. Тут и социальное экспериментирование с отказом от непременных потребительских регалий, и новые принципы идентификации, легко дававшиеся интернет-поколению, привыкшему к никам и более чем снисходительно относящемуся к телесному оформлению этих ников. Нельзя не упомянуть и различные формы борьбы с навязчивой функциональностью вещей.

Понятно, что забивание гвоздей микроскопом было просто демонстративным жестом, способом раскрыть метафору. Тут можно вспомнить еще Кена Руэйна, в конце 60-х годов прошлого века съевшего на спор велосипед и написавшего об этом книгу. Книга так и называлась: «Записки человека, съевшего велосипед»; лет двадцать назад она была переиздана и пользовалась немалым успехом. В тексте Руэйна удачно чередовались описания «размельчения» велосипеда с последующим использованием полученного порошка в качестве пищевых добавок и рассуждения о преодолении потребительского рабства, опирающегося на слепое следование «функциональному предназначению». Кен Руэйн мог бы стать одним из апостолов современного неконформизма, но, к сожалению, съев за год велосипед и выиграв тем самым пари, он потратил эту весьма солидную сумму самым что ни на есть буржуазным образом — на увеличение собственного благосостояния (в частности, на покупку мерседеса). Кроме того, как справедливо заметил Колесо, уделять столько времени развеществлению вещи значит оказаться в ловушке фетишизма, подтвердить власть потребительства с другого конца.

Примером куда более яркого, азартного и массового развеществления стали *гонки на мобильниках*, введенные в широкий оборот Бланком (тогда еще Пленицким) и его коллегами-сотрудниками из фирмы «Сенсорика». Первоначально для гонок использовалась любая ровная и слегка наклонная поверхность, скажем обыкновенный стол, чуть приподнятый с одной стороны. Участники состязаний выкладывали свои *гончие* мобильники на край стола к линии старта, а затем, используя *рулевые* мобильники, начинали звонить на свои гончие. Включался вибросигнал, и стая гончих бросалась наперегонки. Победителем считался тот, чей гончий мобильник первым добирался до края стола — или, по правилам Бланка, падал со стола, пересекая финишную ленточку...

Сейчас, когда по мобильным гонкам устраиваются чемпионаты мира и Европы, когда хороший гончий мобильник можно купить по цене автомобиля, те первые протестные гонки выглядят крайне наивно. Коммерциализация настигла это невинное занятие в течение двух-трех лет. Но оно сыграло свою роль, роль веселого, эпа-тажного противостояния потребительству. Можно сказать, что в борьбе с товарным фетишизмом гончие мобильники выиграли первый забег.

Всех эффектных жестов, направленных против потребительства, не перечислить. Среди авангардных сражений были и выигранные, и начисто проигранные. Неожиданно

эффективной оказалась распарка (выбор обуви из разных пар), впервые запущенная нестяжательской коммуной «бастардов» из Ливерпуля, — она нанесла существенный урон обувной промышленности. Успех в какой-то мере был предопределен быстротой наступления: отряды «поперечников» к этому времени были уже достаточно велики, с помощью походных ноутбуков могли координировать свою деятельность в режиме on line и быстро менять диспозицию, нанося следующий точечный удар.

Тем самым модное поветрие не успевало превратиться в ветер, вращающий лопасти ветряных мельниц товарного производства. О модном поветрии и вытекающей из него развернутой метафоре со свойственной ему образностью говорил Бланк.

БЛАНК. Пора бы уяснить истинный смысл притчи о Дон Кихоте. Свойство великих книг вам известно: в каком бы новом ключе, в какой бы степени забвения первоначального смысла их ни читали, читающие всегда обнаружат то, что им нужно.

Так вот. Рыцари, сражающиеся с ветряными мельницами, — это мы. Во всяком случае, мы должны ими стать. Потому что противостоит нам настоящее чудовище, обладающее одновременно свойствами мельницы и гидры. Гоббс в свое время уподобил государство Левиафану, библейскому чудовищу. Следуя ему, я сравнил бы общество потребления с Мельницей-Гидрой. Это странное существо, которому все поклоняются, представляет собой удивительный симбиоз живого и мертвого. Точнее говоря, симбиоз машины и чувствительца, наделенного проблесками разума. Представим себе эту ветряную мельницу, которую опознал когда-то Дон Кихот. В ней есть жернова, закрома, всякие там устройства для перемалывания любого поступающего разнообразия... Все преобразуется в однородный продукт, который расфасовывается в стандартные упаковки — в товарную форму. В принципе мертвый механизм, способный работать только в случае приложения внешней силы. Например, силы «ветра», дуновения — в конечном счете силы духа. Его нужно еще уловить, поскольку дух, как известно, дышит где хочет.

Но у этой Мельницы-Гидры есть и свое живое — чувствительные лопасти, способные поворачиваться и перехватывать человеческие устремления...

ГОЛОС. В живой природе есть такая элементарная способность, Бланк. Фототаксис у растений, когда они поворачиваются вслед за солнцем; есть еще хемотаксис...

БЛАНК. Верю. И чуткие лопасти Гидры ловят дуновения духа, который первоначально вовсе не имел в виду вращать мельничные колеса. Но всякое воздействие на лопасти приводит в действие жернова. Из плененной силы желания жернова труда делают товар. Улавливаете?

НЕРАЗБОРЧИВЫЕ ГОЛОСА. ...Что-то старомодно, Бланк...

БЛАНК. Подходящее слово — старомодно. Если вдуматься, удивительное наречие, как если бы мы сказали «громкотихо». Но вторая часть — «модно» — прямо работает на наш образ, ведь лопасти Мельницы-Гидры улавливают в том числе и модные поветрия. Сами по себе модные поветрия — всего лишь проявления человеческой свободы, иной раз они помогают справиться с каким-нибудь тоталитарным безумием. Но это чудовище приспособилось схватывать любое стремление к моде и штамповать из него фальшивки.

Вот так наши духовные порывы одухотворяют Гидру. Более того, в силу привычки такие порывы приобретают систематический характер, они вписываются в ритмику воли, которая, в свою очередь, подчиняется монотонному ритму труда. Жернова перемалывают дары природы, в том числе и данные нам дарования. Я думаю, Господь с горечью смотрит на это с высоты небес. Он, первоисточник эманации, *однажды вдохнул душу живу* в мертвую глину. И то, что стало с его дыханием, нельзя назвать иначе чем

первородный грех — все остальные грехи лишь следствие пленения свободного волеизъявления духа.

Одухотворение Гидры называют по-разному: алчностью, стяжательством, корыстолюбием. В любом случае дух уже не дышит, где он хочет, а растрчивает себя на анимацию чудовища. А лопасти, если вы заметили, вращаются все быстрее...

ВИКТОР ЧУГУЕВ. Тогда, Бланк, алчность вроде должна нарастать. А мне кажется, она пошла на убыль... происходит что-то другое...

БЛАНК. Ты прав, времена конкистадоров остались позади. Но, друзья мои, чудовище от этого только выиграло. Настоящая алчность все еще содержит в себе неукротимость духа. Кроме того, алчность перебивается встречной алчностью, а это снижает КПД Мельницы. Поэтому самое точное название ловушки, в которую попались все цивилизации, это не алчность и не скупость, а — польза. Польза — именно так называется самый надежный способ ублажения хищного чувствилища Гидры. И мы видим, что по степени обеспеченности кормом, так сказать по величине отчуждаемой дани, этот монстр превосходит и Левиафана, и всех прочих языческих кумиров.

Идолы — материализованные призраки, порождаемые нашими страхами или энтузиазмом, — требуют приношений. Им приходится приносить жертвы, проливая при этом кровь, испытывая трепет и преодолевая инстинкт самосохранения. Но Гидре с ее жерновами достаточно *приносить пользу*, похоже, что такая форма дани прочнее всего поработает дух. Великая превратность труда состоит в том, что каждый из совершающих приношение идолу думает (и даже уверен), что приносит пользу себе. Понятно, что на деле приносящий пользу прежде всего используется сам, растрчивая полученные свыше дуновения на ублажение чувствилища Гидры, на безостановочную работу ее мертвых органов-агрегатов. Известный эвфемизм «общественно полезный труд» скрывает под собой горькую истину — «гидрополезный» характер товаропроизводящего труда.

Несложно описать и каждый отдельный цикл метаболизма чудовища — его еще называют циклом расширенного воспроизводства. Вот хищные выдвижные усики-лопасти уловили дуновение и втянули его в себя. Потом заходили жернова перемалывания и заработал счетчик суммирования отдельных усилий — так монстр проявляет свою благосклонность (довольное урчание счетчиков) и показывает, что дань принята. И наконец из закровов *полезло полезное...* (Пауза.)

ГОЛОСА. Товар!.. Говно!

БЛАНК. Вы правы, друзья мои, это синонимы...

ЕВА КУКИШ. Об этом идет речь и в даосской философии. У Чжуан-цзы о пользе бесполезного...

СОВА. Товарный фетишизм и его существенные проявления исследованы Марксом.

БЛАНК. Что ж, как заметил всеми нами любимый Хайдеггер, «все существенные мыслители говорят об одном и том же». Но я предлагаю вам перечитать Сервантеса: помимо ветряной мельницы там есть еще и рыцарь с копьем. И мудрость его в том, что в отличие от прочих участников стяжательских войн он обнаружил настоящего врага и

попытался под насмешки и улюлюканье атаковать его логово. К сожалению, найдя врага, рыцарь из Ламанчи не нашел правильной тактики.

Как победить чудовище, пока не знает никто. Я тоже не знаю. Ясно одно: чтобы уязвить Мельницу-Гидру и нанести ей урон (а это уже немало), нужно быстро маневрировать и все время менять диспозицию. Наши душевные движения и их социальные последствия не должны отливаться в форму полезности — тогда мы сможем частично перекрыть поступление движущей силы на вездесущие лопасти щупальца-крылья. Если выказывать подобающую брезгливость иди хотя бы небрежность к конечным продуктам обмена веществ, не торопиться очищать закрома Мельницы (а сегодня эти закрома-витрины оформлены особенно притягательно), у чудовища непременно случится запор и оно испытает все последствия внутренней интоксикации. Главное — прекратить позорный Гидро-лиз.

ЧУГУЕВ. А что случится с нами?

БЛАНК. С нами — ничего, кроме того, что уже случилось. Мы и сегодня располагаем экологически чистыми вещами — их круговорот неподконтролен ни Левиафану, ни Мельнице-Гидре. Но не будем обольщаться, до победы еще очень далеко, и виртуозы Гидро-лиза по-прежнему правят миром. Кстати, одно преимущество перед тем воином из Ламанчи у нас все же есть. Мы — *рыцари Веселого Образа*, и наши походные праздники всегда с нами.

Новая интерпретация «Дон Кихота», вошедшая в «Полный Бланк», получила широкую известность не только среди бланкистов, но и среди нестяжательских племен вообще. Сравнение Бланка на первый взгляд кажется несколько искусственным, но, видимо, оно затронуло какие-то сущностные моменты заброшенности в мир с неизбывной обреченностью на труд. Известен целый ряд попыток развить и продолжить метафору, примененную Бланком.

Скажем, ник Гаруда, один из наставников Петербургского сквот-университета, рассуждал так. Лопасти Мельницы движутся благодаря систематическим порывам конечного, заключенного в форму Я духа. Первичным продуктом в таком случае является всеобщий полуфабрикат, по Гегелю — среда вещественности. Или попросту мука. Но из муки еще надо замесить тесто. И вполне уместно будет спросить: из какого теста мы сделаны? В какой мере *само человеческое* в его современном проекте складывается из потребляемых вещей и актов потребления? Не является ли оно попросту оттиском товарной матрицы на податливом тесте?

Быть может, это тесто, восходящее после того, как Мельница-Гидра перемалывает наше сущее, представляет собой вторичную глину. Вторичную — после той, первичной, из которой Господь вылепил Адама, придав ей форму, энтелехию и вдохнув душу живу. И вот Гидра сберегающей экономики втягивает в себя сначала простые потребности, затем автономные желания, включая сексуальные позы, потом интеллектуальные и, наконец, духовные устремления. В этом процессе происходит развоплощение Первообраза: богостоятельность сменяется самостоятельностью. Но самостоятельностью условной и совершенно пустой, соответствующей английскому выражению *self made man*. Человек, сделавший себя сам, — такова форма высшей оценки по отношению к преуспевшим в рамках основанного на стяжательстве социума. И этот сделавший (переделавший) себя сам человек уже не Адам, а Голем. Его духовные искания втянуты в воронку, ценности перемолоты и выпечены заново, а психосоматический метаболизм на уровне социальных инстинктов включен в метаболизм Монстра.

\*\*\*

Последовательность симбиоза укладывается в рамки эволюции техники — этот процесс исследован многими мыслителями от Хайдеггера до Бодрийера. В частности, Альфер, друг Бланка еще с нестяжательских времен, писал по этому поводу:

*Одичавшую, обезумевшую от жертвенной крови и коллективного вождения технику удалось все же загнать в резервацию, тотемизм вновь уступил место фетишизму. Восстановилась религия общества потребления, не требующая кровавых эксцессов, ибо символические аспекты почитания в ней исключают экзистенциальную трансгрессию. Ныне левиты комфорта, жрецы новой всепоглощающей идеи, отправляют культ вещизма, удобства и подручности в соответствии с известной заповедью: «Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матф. 11:30). Сегодня доминирует дрессированная, ручная техника, пытающаяся угадать желания своего владельца; ее всеобщим девизом стали слова, пророчески избранные однажды известной фирмой по производству грампластинок: «His master's voice» («Голос его хозяина»), Техноценоз покорен популяцией новых вещей, мягких, вкрадчивых хищников, умеющих понимать с голоса и повиноваться, но потихоньку осваивающих формулу позывных желаний, подбирающихся к имитации внутреннего голоса субъекта.*

*Техника, требовавшая жертв, осуществлявшая открытый вызов человеку, отправлена на свалку или в музей. Сегодняшние порождения техники не стремятся прервать симбиоз, но не следует обольщаться их видимой покорностью. Траектория превратности в отношениях человека и техники не менее извилиста, чем гегелевская диалектика господина и раба Дело в том, что техника, подобно многим видам в живой природе, не может размножаться исключительно путем партеногенеза, она нуждается в периодическом поступлении оплодотворяющего начала — в данном случае импульса человеческого духа. Речь идет именно о решающих моментах, о поворотных пунктах, ибо в принципе устойчивый техноценоз способен к самостоятельному поддержанию численности за счет определенной инерции человеческой деятельности. Мы ведь всегда застаем уже наличными и требующими заботы мастерские, фабрики, депо, а также склады и магазины, и нам ничего не остается, как присоединиться к повторяющемуся усилию воспроизводства — говоря словами Хайдеггера, откликнуться на зов техники, даже не подвергая его расшифровке.*

*Простой смысл паровозных гудков, всех фабричных сирен и будильников означает: встань и иди. Лучше всего даже не пробуждаясь, как зомби или сомнамбула. Окликнутый человек следует зову техники, словно самец брачному призыву самки, но в этом маниакальном хождении по кругу отсутствует нечто самое важное: сомнамбула неспособна к духовному оплодотворению, к производству нового эйдоса.*

*Чтобы отпочковалась самостоятельная жизнеспособная ветвь техники, необходимо прервать процесс вегетативного размножения, а для этого требуется коллективная духовная инъекция Мастера, Менеджера и Мечтателя. Пытаясь выманить ее, техника становится ласковой и кроткой. Эмбрионы многих великих изобретений оплодотворены и выношены в стихии игры: помимо пороха можно вспомнить телефон, который был востребован прежде всего цирковыми иллюзионистами и чревовещателями, можно вспомнить и персональный компьютер.*

*Как известно, вирусы вообще неспособны к самостоятельному размножению, они просто используют чужой генетический материал (программу жизни «хозяина»). Мы думаем, что техника служит нам теперь верой и правдой — не случайно пафос новейшей философии состоит в отказе от демонизации технического (П. Вирильо, А. Ро-нелл). Есть, однако, достаточно обоснованное подозрение, которое нельзя сбрасывать со счета: а что если техника, играя и заманивая, принимает позу соблазна именно тогда, когда остро нуждается в иноприродном ей начале, в семени духа? Жаут техники внедряется в принцип наслаждения, имитируя язык желания вплоть до интимных доверительных интонаций.*

*Мы видим, что развитие техноценозов осуществляется волнами: покорность сменяется неза висимостью, если достигнута инерция самовоспроизводства. Знакома нам и поза угрозы, применяемая доминирующим хищником. Сейчас мы как раз переживаем стадию, когда техника глубоко втянута в самое жерло принципа наслаждения, она как бы находится в позе максимального соблазна, словно искушенная женщина, знающая, чем созрывает. Электронные игры, пожирающие колоссальный ресурс чистого времени, виртуальная реальность, компьютерный секс—все это суть безошибочные знамения соблазненности духа. О глубине проникновения соблазна свидетельствует, между прочим, и тот факт, что у техники сменился идеолог: впервые за время ее существования апология технического звучит не из уст инженера, менеджера или ученого, а из уст художника. Художественный авангард припал к дисплеям компьютеров, открыв для себя (с помощью вкрадчивой, тихой подсказки) область электронной психоделики, — и сегодня техническая оснащенность этого авангарда уже сравнима с технической оснащенностью армий.*

*Факт смены покровителя техники как наиболее существенная новация последней технотронной волны еще требует обстоятельного анализа. И пока художники, именуемые теперь арт-мей-керами, используют технику в свое удовольствие, она, в свою очередь, использует их удовольствие для выманивания семени, для оплодотворения и вынашивания эмбриона.*

*Еще не известно, как будет выглядеть зрелая особь, когда она вылупится из яйца, каких жертвоприношений она потребует в своем культе.*

Многие пронизательные мыслители обращали внимание на то, что за ласковым убаюкиванием, за колыбельной прогрессирующего комфорта скрываются знакомые со времен Одиссея сладкозвучные сирены, всякий раз заманивающие очередной «Титаник», снаряженный по последнему слову цивилизации, в пучину гибели, — правда, пассажирам далеко не всегда удавалось заметить, что они уже втянуты в воронку гибели, несмотря на то что благополучно достигли Америки. Как уже отмечалось, даже самые безупречные теории — всего лишь пряности интеллекта без экзистенциальной решимости их последователей. С другой стороны, и самый незамысловатый практический шаг способен породить взрыв теоретического осмысления. Иными словами, далеко не всякая теория, будь то в сфере науки или в области социальной регуляции, располагает собственной практикой, зато практика, понимаемая как возобновляемое единство действий субъекта, легко обзаводится пучком конкурирующих теорий, между которыми приходится выбирать.

Движение нестяжателей, включившее в себя самые разнородные практики бытия-поперек, привело к реальному жизнеспособному единству такие *человеческие феномены*, которые могли показаться теоретически несоединимыми. Сегодня этот синтез продолжается, можно даже сказать, что он в самом разгаре, и по своему накалу и интенсивности синтез бытия-вопреки заслуживает названия антропогенной революции.

Ясно, что не осталась в стороне и сфера производства символического. Прежде всего это, конечно, создание новых ритуалов и мифов, которое еще никогда не свершалось с такой скоростью в реальном времени, но и события, происходящие в сфере собственно авторствования — выбор способа художественной экспрессии, неожиданное предпочтение тех или иных жанров, — заслуживают пристального внимания. Сейчас мы

уже можем говорить о *литературе-поперек* и даже о *поэзии-поперек*, выросших из эстетики постмодерна и практики художественных авангардов. Эти направления были востребованы, поскольку по самой своей сути такая перпендикулярность означала дискредитацию систематического усилия осмысления и переход к стратегии обесмысливания, что прекрасно попадало в резонанс борьбы с *пользоприношением*. Взять хотя бы *поэзию оторванных рукавов*.

Поэзия, пришедшаяся ко двору в урбанистических джунглях, в целом продолжала линию Лира, Кэрролла и Артура Милна, а если говорить о русской традиции — линию обэриутов. Поэзия оторванных рукавов, в свою очередь, образует ряд ответвлений («рукавов»), так или иначе противостоящих «высокой поэзии», претендующей на вечное хранение. Если Рэй Нил-ли, Соул Гоун, ник Ник могут рассматриваться как новые рапсоды или акыны, использующие наряду с импровизацией готовые блоки «поэтической поэзии», то в русской традиции заметный резонанс вызвала книга петербургского поэта Марка Изумруда «Неизвестный Пушкин». Автор этой книги, проявив немалую изощренность, предложил «новое прочтение» подавляющего большинства стихотворений и поэм Пушкина. Каждому образцу привычного,

или «слепого», чтения противопоставляется прочтение творческое, или, как выражается Пушкин-Изумруд, «чуткое и вдумчивое». Например:

Ты волнуешь сине море, Всюду реешь на просторе...

Марк Пушкин-Изумруд дает «вдумчивую» версию:

*Ты волну ешь, сине море, Всё дуреешь на просторе...*

И так — более трехсот страниц неизвестного Пушкина. В книге вслед за пушкинской строкой идет ее «изумрудная версификация», и, разумеется, далеко не все равноценно:

Ты волнуешь сине море, *Ты волну ешь, сине море*, Всюду реешь на просторе... Все *дуреешь на просторе...*

Не видал ли ты его, *Неве дал ли ты его?* Господина моего? *Господи, намой ею!*

Ядра — чистый изумруд... *Я драчистый Изумруд...*

Вряд ли миру был явлен «неизвестный Пушкин», но пушкинисты и примкнувшие к ним прочие стражи духовности устроили скандал, способствовавший, как водится, дополнительной популярности книги, а отряды Бланка использовали заряд обесмысливания, в полной мере присущий тексту, в своей борьбе с тотальной рационализацией духовных порывов.

Занятия изумрудной версификацией, получившие широкое распространение с легкой руки Пушкина-Изумруда, чем-то напоминают гонки на мобильниках. В них тоже присутствует момент поперечности-перпендикулярности, в данном случае перпендикулярности *поэтическому складу души*, уже давно используемому в интересах потребительской цивилизации. Поэзия оторванных рукавов внесла и вносит свой вклад в преодоление амортизации сущего, ослабляя хватку вещеглотов и обесмысливая их уверенность. Но в принципе далеко не все порядки символического, синтезированные контркультурой, вошли в собственную «позитивную» культуру нестяжательских племен. Тексты протеста и тексты самоотчета представляют собой все же разные, хотя кое в чем и близкие по духу стихии.

В джунглях мегаполисов произошло, прежде всего, ослабление принципа авторствования, обеспечивавшего на протяжении столетий расширенное

текстопроизводство и воплощавшего в себе квинтэссенцию идеи собственности. Достаточно вспомнить характерное сочетание страха и алчности, главных движущих сил ав-торствования вплоть до нашего времени. Страх, скрываемый с немалым трудом, присутствовал в полном объеме: с одной стороны, как страх перед кражей (плагиатом), а с другой — как страх быть уличенным в плагиате. Эти опасения перекрывались только алчностью, мукой недооцененное, вызывавшей тяжелую одышку из-за нехватки фимиама. Болезнь представлялась смертельной уже Ролану Барту — автор, однако, жив и по сей день; бесконечные войны влияний, которые авторы вели друг с другом, подобно прочим стяжательским войнам, лишь повышали ценность предмета раздора. Не только Барт, но и многие его современники и последователи видели один и тот же сон, в котором оказывалось, что *автор умер*. Жаль, что подобных сновидений не застал Фрейд. Он получил бы великолепное подтверждение своей теории о сновидении как исполнении желаний и без труда определил бы скрытое содержание сна о смерти автора: *умри всякий автор, кроме меня*. Только вызов нестяжательства, брошенный обезумевшей цивилизации, привел к некоторому падению интенсивности текстопорождения — да и то вслед за общим падением интенсивности товарных обменов. При этом основные источники творчества отнюдь не иссякли, они, как выяснилось, не сводились исключительно к лихорадке авторства.

С известными вариациями восторжествовала модель, опробованная в интернете, — мягкое, ненавязчивое авторствование, разворачивающееся под прикрытием любого ника, в сущности лишенное одышки, вызываемой недостатком воскурений. Резко контрастирует с дежурной восторженностью прежних веков и будничность самих *произведений*, создаваемых в нестяжательских коммунах, произведений, явно не претендующих на мировой переворот и больше напоминающих *фенечки* — какие-нибудь собственноручно сплетенные браслеты, предназначенные для подарка товарищу, а то и первому встречному.

Приоритет бытия-поперек, как, впрочем, и другие особенности живого общения, значительно обесценили персональную атрибуцию новых вкладов. Даже манифест бланкизма, знаменитый «Полный Бланк», содержит фрагменты, авторство которых вызывает сомнения, а ведь это важнейшая часть предания. Целый ряд писателей, философов и поэтов, обустроивавших духовно экологическую нишу нестяжательства, известны только по никам. Среди них и ник Ник, один из лидеров калифорнийских бланкистов.

Можно сказать, сбылось предсказание Андре Мальро — распался «большой круг культуры», единое общедоступное хранилище, пополняемое путем тщательной селекции претендующих вкладов. Создаваемые произведения стали циркулировать преимущественно по малым кругам локальной востребованности — передаваться из рук в руки, распространяться через знакомых и симпатизирующих. И разумеется, по *подвеске* — о ней еще пойдет речь. Кто-то может сказать, что эти тексты, картины или музыкальные записи всего лишь блеклые «представители своего рода», что они вряд ли попали бы в коллектор Большого круга и уж во всяком случае не были бы там сохранены. Однако они до сих пор эффективно выполняют свою задачу, вызывая соответствующий отклик в нужном месте, давая возможность обменяться впечатлениями или просто пожать плечами.

Как заметила однажды Татьяна Москвина: «Мы читаем самые волнующие, занимательные или, наоборот, самые содержательные и поучительные книги по разным причинам — но прежде всего потому, что они есть. Не было бы их, мы читали бы книжки похуже, не случись и таких, читали бы и совсем плохонькие». Эта простая, но глубокая мысль бросает неожиданный свет как на природу чтения, так и на природу человека читающего. Действительно, кому из нас не случилось углубиться в чтение того, что



просто находится в данный момент под рукой, — если разобраться, чтение подавляющей части людей всегда было устроено именно таким образом. По самой своей сути чтение опирается на простую и неделимую потребность *первичного читателя*, живущего в каждом из нас, а не на «разборчивость», свойственную узкой группе привилегированных читателей. Только поэтому книга стала тем, чем она стала — хотя бы классическим примером товарообмена, который так любил приводить Маркс (сюртук на Библию).

Несмотря на бесчисленные внутренние разборки, на вселенскую ярмарку тщеславия, где ситуативная игра котировок претендует на описание подлинной жизни человеческого духа, сходным образом дело обстоит и в живописи, и в музыке. Произведения востребуются из ближайшего круга доступности — прежде всего

потому, что они имеются в наличии сейчас Культурные обмены в ареале обитания новых племен вновь обратили внимание на данное обстоятельство - произошла, как выразился бы достопочтенный Лиотар, «редукция к фону очевидности». Несмотря, однако, на эту «редукцию», эффективность воздействия произведений-фенечек на первичных читателей и слушателей не только не уменьшилась, но даже возросла. В какой-то степени это объясняется как раз новым способом предъявления: вместо публикации, характеризующей способ обнародования произведения в авторской культуре, возникла подвеска — альтернативный процесс дистрибуции вещей, обеспечивающий их экологическую чистоту, отсутствие загрязненности товарной формой.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Подвеска

Практика подвески, этого радикально нового еще не встречавшегося в истории человечества типа обменов, в отличие от ряда других составляющих нестяжательства имеет своего вполне конкретного основателя. Основателем подвески является Гелиос, известная также под никами Ли и Парящая-над-Землей.

Гелиос (так называли ее родители) родилась в обеспеченной семье, что, возможно, позволило ей избежать воздействия особо опасного вируса стяжательства. Ибо потакание детским капризам некоторым образом защищает от развития зависти и других печальных последствий острой имущественной недостаточности. Вопреки господствовавшим ранее предрассудкам жизнь показала, что умение довольствоваться малым, устойчивость к зуду стяжательства Достигается не путем изначальных лишений, а благодаря некоторой, приобретенной еще в детстве беспечности по отношению к «сокровищам», — собственно, уже феномен хиппи свидетельствовал об этом со всей очевидностью. Конечно, даже самое обеспеченное детство не дает гарантий определенного будущего, но какие-то элементы иммунитета к вещизму все же формируются. Как бы там ни было, но именно беспечность, по мнению друзей, была самой заметной чертой характера Ли. «По жизни я, конечно, пофигистка, но увлекающаяся пофигистка», — говорит Парящая-над-Землей. И подобное сочетание очень характерно для многих нестяжателей, примерно как сочетание беспечности и воинственности для норманнов.

Как рассказывает сама Гелиос, все началось в 2005 году, после поездки в Прагу.

*Город оказался таким чудесным — я просто пожалела, что не бывала здесь раньше. Пиво, готика, куклы, бехеровка, крыши, друзья, улеты — все вместе было так прекрасно, что уже на пятый день мне приснился сон, будто дверь моей прежней жизни, той, откуда я сюда проникла, захлопнулась и сама замуровалась стеной. Снилось, что меня пытаются выдворить, я развожу руками: некуда, мол, выдвориться... И еще снилось, что Кафка и Ян Швонкмайр за меня заступаются. Они говорят: без нее же все куклы будут скрипеть... Я тогда как раз занималась кукольным театром.*

*Так прошла неделя, и вдруг мой чудный приятель Мартин Вацке говорит: «А пойдем сегодня в подвешенное кафе?» Я отвечаю: «А пойдем!», а сама думаю, что*

кафе, может, подвешено на каких-нибудь цепях над Влтавой... ты в нем сидишь, а оно раскачивается.

Но все оказалось еще круче, хотя поначалу я была разочарована: обычная кафешка и обычный усатый чех за стойкой. Но тут Мартин показывает мне доску, похожую на школьную, и на ней мелом какие-то надписи написаны. А рядом еще висит подушечка, и в нее воткнуты булавки с лентами. Вот. Показывает мне все это и говорит на смешном русском языке:

«Можем мы сейчас вкусные вафли взять, есть та-ко же рюмка бехеровки, колбасков жареных есть порция, схема на транспорт пражский и грдлич-ка... но она давно висит».

Я не стала спрашивать насчет грдлички, потому что непонятным было всё. Мартин заказал пива и «снял» колбаски. А когда мы наконец уселись за стол, он рассказал мне, что такое подвешенное кафе.

Допустим, приходят посетители и что-нибудь заказывают: кофе, пиво, орешки, какое-нибудь горячее блюдо. Заказ оплачен, но предположим, что орешки в конце концов остаются нетронутыми. И, уходя, компания говорит: а орешки подвесьте, пан. И пан записывает мелом на доске: орешки. А в подушечку втыкает булавку с цветной лентой. Теперь орешки подвешены, и любой следующий посетитель имеет право получить их бесплатно — если, конечно, ими заинтересуется. Можно что-нибудь подвешивать, вместо того чтобы давать чаевые. Или, например, блюдо, которое тебе понравилось, можно заказать повторно — на подвеску. Сняв подвешенное угощение, можно взамен оставить что-нибудь приглянувшееся тебе. Но никакого эквивалента соблюдать не требуется, любой посетитель имеет полное право воспользоваться подвеской, ничего не оставив взамен. Не важно, есть ли у него деньги или нет — может, ему просто так хочется.

Слушая разъяснения Мартина, я все больше приходила в восхищение: идея подвешенного кафе была воистину прекрасна. Помню, мне вдруг пришло в голову: ведь точно также и Господь для нас развешивает сливы. Если вдуматься, то ведь важнейшие дары Господни достаются нам так, если бы они были оставлены в Подвешенном Кафе, куда мы случайно попали в выпавший нам час.

Посещение этого пражского кафе стало, пожалуй, главным событием в моей жизни. Там я обрела просветление. Уходя, я уговорила Мартина скинуться, и мы подвесили целую бутылку шампанского.

Просветление, обретенное Парящей-над-Землей, оказалось отнюдь не пустым звуком. Вернувшись в Москву и собрав знакомых ребят, она рассказала им, как они теперь будут жить:

Свою кафешку мы обязательно откроем — но это будет только начало. Это будет тренажер для начинающих — то есть для нас. Мы будем так жить, потому что это хорошо весьма. Я это и так знаю, вы же попробуете и убедитесь. Вы даже не представляете, сколько всего очень важного можно изменить нашей решимостью. Это шанс выйти из заикленности на бабках. Мы объявим войну жлобству. Поставим на уши вещеглобов. Всё будет классно, пипл...

Впрочем, ребят долго уговаривать не пришлось. И Парящая-над-Землей была убедительна, и идея хороша весьма. Московское кафе на Бауманской стало первым в России подвешенным кафе, но оно отнюдь не стало простым повторением пражского опыта. Кафе, которое Гелиос назвала «Грдличка», изначально задумывалось как идейное место, таковым оно и оказалось. С самого начала проявились два существенных отличия от чешского заведения. Во-первых — интенсивность обменов. В «Грдличке» (народ

довольно быстро переименовал кафе в «Личико») прямой заказ постепенно отошел на второй план, уступив первенство депонированию и востребованию. А во-вторых, дозволялось подвешивать не только то, что имелось в меню заведения, но и принесенные с собой вещи. Общим же был принцип, поразивший Ли больше всего: подвешенная вещь принадлежала первому, кто ее спросит.

•\*\*

Очень скоро подвеска вырвалась из «Грдлички» на Бауманской, выплеснулась на улицы Москвы и Петербурга, а вскоре и других городов и других стран. В урбанистических джунглях мегаполисов появились *подвесные трассы* и подвесные аналоги почтовых станций — заборы, подвалы, стены домов, пестрящие цветными ленточками. В Петербурге, Осаке и Амстердаме интенсивность обменов через подвеску превзошла уровень архаического потлача и достигла интенсивности денежного обращения времен ранних цивилизаций. Степень самодостаточности круга подвесных обменов напоминает сегодня натуральное хозяйство, хотя в некотором смысле речь идет о полной противоположности натуральному хозяйству — о натуральной бесхозности, а если быть еще более точным, о натуральной беспечности, постепенно изменяющей человеческую натуру. На наших глазах проходит обкатку действительно новый экзистенциальный проект, получивший опору, способную сыграть роль решающего аргумента.

Следует признать, что, ухватившись за случайно подсмотренный завиток городского уклада, за блеску местной пражской экзотики, Парящая-над-Землей совершила подлинное открытие. Ошеломляющий эффект и действенность открытия состоят в том, что великой воительнице всё представилось сразу, в виде универсальной практики обменов, в виде победоносного боевого строя в войне, объявленной жлобам. Предчувствие Ли сбылось по полной программе, и, подобно тому как Бланк, Колесо, Лиля, Ютака, Крошка открыли пространство возможностей бытия-поперек, Парящая-над-Землей открыла кормовую базу новых нестяжательских племен. Без этого открытия попыт бытия-поперек вряд ли стал бы значимой социальной практикой.

Значение подвески в организации повседневной жизни всех обитателей джунглей очевидно для любого наблюдателя, как бы далеко от соучастия в таких обменах он ни находился. Но этнографические и вообще местные особенности подвески известны далеко не всем. Приведем отрывок из размещенного, то бишь *подвешенного* в интернете полевого исследования, подписанного ником Лознгрин. Исследование посвящено ареалу обитания питерских бланкистов и близких к ним общин.

*Мур, в отличие от большинства своих приятелей, живет не в сквоте и не где придется, а у себя дома, в обыкновенной коммуналке. Там есть ванная, и друзья иной раз заходят к нему помыться, взбираясь по веревочной лестнице в незакрывающееся окно или просто звоня в дверь. Но иногда Мур все же на некоторое время покидает свою резиденцию. И тогда живет в сквоте или где придется.*

*Подобно прочим бланкистам, он носит с собой цветные ленты, чтобы отмечать, где он оставляет (подвешивает) какую-нибудь пригодную для жизни вещь, попадающую ему в руки. Такой вещью может быть что угодно: пачка печенья, книжка, компакт-диск, пара рукавиц или одна рукавица, клеящий карандаш или интернет-карта. Не то чтобы подвешиваемая вещь была ему вовсе не нужна, но она не нужна в ближайшее время, скажем сегодня и завтра, — и это уже является достаточным основанием для того, чтобы ее подвесить. Ведь кому-то она может понадобиться именно сегодня.*

*Чего только не подвешивают бланкисты в самых неожиданных закоулках города — вплоть до ключей от какого-нибудь жилья с указанием адреса. У меня особое*

умиление вызывают подвешенные мотки разноцветных лент, самого знака подвешивания. Поразительный пример автореференции — они, кстати, пользуются большим спросом.

Мур пустил меня пожить с условием не мешать ему и «не вешать лапшу на уши». Мы выходим из дому утром, причем утро начинается не по часам, а после того как Мур проснется и решит, что пора выходить. Выходит он «на прогулку», которая редко имеет определенную цель, но даже если цель есть, она может легко измениться под влиянием обстоятельств. Неизменными остаются лишь желания видаться с приятелями и оглядываться по сторонам. Как говорил в свое время Павел Крусанов: «Считать ворон — одно из самых благородных занятий в жизни».

Маршрут Мура нередко отклоняется к подвесной трассе, где этот неунывающий бланкист знакомится с подвеской, снимая заинтересовавшие его вещицы или предложения. Завтракает (точнее будет сказать, обедает) он в одном из многочисленных подвесных кафе, где любят тусоваться питерские бланкисты. Эти места встреч так и называются: «места». Некоторые из них вполне цивилизованны и общедоступны: «Дрель», «Диоген», «Три семерки», а другие — например, такие места, как «Яма» или «Тюбик», — это просто развалины или пустыри. Но и они располагают «столовой», распознать которую, правда, человеку постороннему не очень легко.

Я как-то спросил Мура, всегда ли ему удается найти еду. Мур с некоторой даже назидательностью заметил, что не следует этим заморачиваться. У нас состоялся любопытный разговор по этому поводу.

— Проблема возникнет тогда, когда она возникнет. Главное — поев сегодня, не думать о завтрашнем ужине.

— Но если с ужином ожидаются трудности, — возразил я, — не лучше ли позаботиться заранее, коли уж есть такая возможность?

— Ну, тут всё как в сказке «Кот в сапогах». Мудрая, вообще, сказка.

Я не понял, что он имеет в виду, и попросил уточнить, что Мур и сделал:

— Помнишь, там, когда братья поделили имущество после смерти отца, старшему брату досталась мельница, среднему — осел, а младшему — кот.

— Ну.

— Так вот, средний брат и говорит старшему: «Слушай, а что наш младший братец будет есть, ведь мы, кроме кота, ему ничего не оставили...» А старший, помнишь, что на это ответил?

— Нет, не помню.

— Он сказал гениальную вещь, настоящий девиз бланкистов: «Я так рассуждаю, — говорит старший брат, — будет что поесть — поест, а не будет чего есть, так и есть не станет». Вот и я также рассуждаю.

С юмором, хотя и своеобразным, у них все в порядке.

Подвеской занимаются как сами нестяжатели, члены племен и общин, так и многочисленные сочувствующие. Тут нет никаких ограничений, и каждый может подвесить и снять все, что захочет. Правда, некоторые «станции» находятся высокомерно и без веревочных лестниц до них иногда попросту не добраться. В силу этого обстоятельства ими пользуются в основном аборигены. Но по большому счету настоящий бланкист не заботится о том, кому достанется его подвеска. Ведь то, что он хочет подарить кому-то персонально, он всегда может вручить в виде фенечки.

Благодаря подвеске можно поесть, одеться, выпить, покурить (не только табак), почитать какую-нибудь книжку или рукопись, а то и мудрый афоризм, каковым нередко сопровождаются посылочки. Можно обзавестись инструментом или документом. Разовые «ксивы» пользуются спросом у этих ребят, поскольку постоянных

собственных документов они, как правило, «не держат». В соответствии с молчаливой договоренностью всех нестяжателей запрещены к подвеске только деньги. Ибо лучшие воины племен ведут непримиримую борьбу с денежным обращением. Поэтому действует правило: если у тебя есть лишние деньги («других и не бывает», как утверждает сам Бланк), купи что-нибудь и подвесь. Или подари персонально кому сочтешь нужным. Я не раз видел, как Мур и его друзья прямо-таки получают настоящее удовольствие, проведя очередной день «без обращения к денежному обращению». Надо признать, что делают они это виртуозно и азартно, не снижая, а скорее повышая качество жизни в пределах отдельно прожитого дня.

Более того, вещица, снятая с подвески, довольно часто задает направление ближайшего времяпрепровождения. При мне Мур, сняв подвешенную кем-то старинную механическую машинку для стрижки волос (были раньше такие — блестящие, никелированные, с зубчиками), не успокоился, пока не постриг всех желающих и нежелающих (а именно меня), и был исключительно доволен проведенным днем. Как тут не вспомнить слова их полубогини Гелиос насчет Господа, развешивающего сливы в назидание всем нам. «Счастливовое дерево мое» — так назвала подвеску бланкистская поэтесса Ева Кукиш...

Взгляд, брошенный Лоэнгрином со стороны, отличается определенной зоркостью и наблюдательностью. Альтернативный канал дистрибуции вещей и вестей вывел на историческую арену новый неподкупный пролетариат в отличие от прежнего, продажного класса, называвшегося этим же именем. Практика подвески позволила одним ударом разрубить целый узел проблем.

Подвеска устранила напряженность нехватки, ту самую острую нужду, что подпитывает стяжательство не хуже, чем азарт присвоения и купание в роскоши. Как уже отмечалось, нерешенность именно этой проблемы погубила нищенствующие монашеские ордена средневековой Европы. Да и в дальнейшем профессиональное и полупрофессиональное нищенство, не исключая и нищенства эпохи изобилия, сохраняло свои порочные черты. Оно до сих пор предстает как мобилизация алчности и как тяжкий труд попрошайничества, вливающийся в общую экономию труда и потребления. Нищие словно бы специально поставлены на страже иерархии потребительских ценностей, подобно живым предостережениям на самом пороге царства мертвых. Их вид красноречиво предупреждает: тебе опостылело общество потребления? Может, ты хочешь к нам? Добро пожаловать! И без того запуганный обыватель вздрогнет и помчится приносить пользу с удвоенной энергией.

Жизнерадостность, воинственность, самодостаточность бланкистов в значительной мере опираются на background подвески, этим же определяется и столь характерный для нестяжательских племен легкий симпатичный пофигизм или, выражаясь кантовским языком, *принцип трансцендентальной беспечности*. Описанный Лоэнгрином Мур вызывает уже не сострадание, а скорее зависть изводящих себя производителей. Нищий понуро стоит с протянутой рукой, вещьглот, с мысленно протянутой рукой, суетится и носится как угорелый за желанной приманкой. А нестяжатель протягивает руку, чтобы снять с подвески понадобившуюся или приглянувшуюся вещь. Он богат, и ему немного жалко и тех и других нищих. Ростки свежего бытия, вырастающие на перегное выродившейся цивилизации, — сегодня они соль земли.

Сколько несчастных бездомных аутсайдеров Европы и Америки можно было бы спасти, если бы сети подвески чуть раньше покрыли городские джунгли! Ведь никакие ночлежки и социальные программы, будучи лицемерными гримасами сострадания, не способны создать среду обитания, пригодную для человеческой жизни. Тут уместно вспомнить растянувшуюся на десятилетия катастрофу российских бомжей, именно о них можно говорить как о трагически опоздавших. В 2005 году, когда Бланк создавал еще свой первый отряд, фальшивые сострадатели всюду упражнялись в обличении несправедливости, зарабатывая политический капитал на разных утопических версиях «социальной адаптации». Но звучали и отдельные разумные голоса — как водится, именно их и считали безумными. Приведем отрывок из какой-то газеты тех лет, попавший затем в антологию «Желтая хризантема».

*Вот две истории, разные по степени своей достоверности, но иллюстрирующие один и тот же более чем печальный вывод. Первую рассказал мне знакомый, уверявший, что сам был свидетелем описываемых событий. Ранним утром в микрорайоне шла обычная погрузка мусора. Автокран сопровождали двое рабочих-таджиков, быстро и привычно делавших свое дело. Все шло своим чередом, пока в одном из мусорных контейнеров не обнаружился спящий бомж. Таджики что-то пытались ему объяснить, но, очевидно, не встретили взаимопонимания. Тогда они осторожно извлекли бомжа из «постели» и отнесли его на ближайшую скамейку. При этом возмущенный до глубины души представитель титульной нации непрерывно ругался: «Понаехала тут всякая шваль... проходу нет... убирайтесь в свой чуркистан», — и так далее, с привлечением всех выразительных средств великого и могучего.*

*Вторую историю я услышал от выходца из Азербайджана, отца одного из моих студентов и владельца нескольких киосков.*

*«Видите ли, я сначала не хотел родню сюда выписывать: хлопот полно, регистрация и всякое такое... Думал, найду подсобных рабочих на месте — здесь, в Питере. Работа-то простая: машину разгрузить, ящики отнести... Это я по наивности так думал. Ну, год промучался, человек двадцать перепробовал, и все же пришлось из родного села земляков приглашать». — «Почему?» — спросил я на всякий случай, хотя суть дела была уже ясна. — «Да вот, никто не может работать. Три дня поработают, на четвертый что-нибудь обязательно разобьют, а на пятый и вовсе не явятся».*

*В этих словах владельца киосков была горькая правда. В столицах и уж тем более в провинции достаточно обширный социальный слой не способен ни к какой работе вообще. Вот почему, несмотря на безработицу и нищету «коренного населения», на стройках трудятся турки, ремонтом занимаются молдаване, маршрутки водят граждане Украины и так далее. На российском рынке труда такой отечественный товар, как «рабочая сила», практически отсутствует. Все россияне, сохранившие трудоспособность (и жизнеспособность), где-то работают. Чиновники, как всегда, на своих местах, вакансий там не бывает в принципе, корпус интеллигенции худо-бедно укомплектован, охранники (по-видимому, последняя социальная ниша, заполняемая трудоспособными россиянами мужского пола) тоже сомкнули свои ряды. Кстати, создается впечатление, что охранник—это на сегодняшний день самая популярная и самая массовая профессия для мужчин с городской пропиской. И всё. Отечественный рабочий класс в большинстве своем демобилизован и распущен, и похоже, что назад его уже не собрать. Зато сформировался огромный арьергард люмпенизированных элементов, очень напоминающих «перерожденцев», описанных Татьяной Толстой в романе «Кысь». В этом романе-антиутопии перерожденцы, лишь внешне сохраняющие человеческий облик, выведены как результат всеобщей ядерной войны.*

*Действительные перерожденцы являются результатом грандиозной социальной катастрофы, разворачивавшейся толчками в течение целого века.*

*Их увы, очень много. Некоторых можно сразу определить по виду, по голосу, по запаху. Другие умеют маскироваться, но, как правило, не нужно ждать пяти дней, чтобы понять, что имеешь дело с перерожденцем. Бомжи, спивающиеся и уже спившиеся люди, многие с генетическими отклонениями, все — с профессиональной бестолковостью и социальной беспомощностью. Они — безусловная часть народа, нередко принимаемая за весь народ. Можно сколько угодно оплакивать их горькую участь или обвинять «антинародный режим», допустивший и допускающий такое. Но даже самый «народный» режим уже едва ли что-то мог бы для них сделать. Если быть честным хотя бы с самим собой, придется признать, что **в этом мире** перерожденцы уже **не спасаемы**. По большому счету земное милосердие может облегчить их участь лишь одним способом — открытием гигантского **социального хосписа**. С той же целью, с какой **открывается** любой хоспис, — чтобы уменьшить ежедневную порцию страданий. Впрочем, вряд ли кто из политиков решится на это даже намекнуть, а стало быть, вымирать эти бедолаги будут, как и прежде, без всякой анестезии.*

Если отбросить некоторый излишний и неточный пафос, обусловленный реалиями тогдашнего времени, автор, в сущности, оказался прав. И в том, что «возвращение к прежней жизни» — это всего лишь пустая отговорка, ведь именно неприятие участи «полноценного члена общества» и поставило аутсайдеров в положение «вне игры». И в том, что политики так и не предложат беднякам ничего приемлемого, кроме милостыни социальных программ. Неизлечимость социальной онкологии в рамках общества потребления была вызвана самим фактом загрязненности человеческих отношений товарообменом. Соответственно, аллергическая реакция расчеловечивания проявлялась в каждом поколении, исторически менялся (варьировался) лишь процент пострадавших да тяжесть протекания этой, говоря словами Кьеркегора, «болезни-к-смерти». Только радикальное устранение загрязняющего фактора, экзистенциального аллергена, способно было предотвратить развитие заболевания и сделать жизнь *выносимой* для тех, кто уже непоправимо болен.

Ассимиляция маргиналов, автохтонных обитателей дна новыми формирующимися племенами везде происходила по-разному. Скажем, парижские клошары и нью-йоркские *vinos* более или менее органично вписались в перпендикулярное бытие нестяжателей. В Японии адаптация прошла не столь гладко, не обошлось без потерь. Подлинная катастрофа, как уже отмечалось, постигла Россию: российские бомжи, самые расчеловеченные бездомные в мире, в соответствии с предсказанием цитированного автора просто *поумирали* без всякой анестезии. Подвеска могла бы спасти многих из них, как это доказывает опыт сегодняшнего дня.

Перемещение вдоль подвесной трассы по принципу «волка ноги кормят» содержит в себе как раз ту оптимальную порцию трудностей, которая позволяет поддерживать жизнь на плаву. Систематическая работа была бы уже трудностью запредельной, а доступность выпивки не сходя с места делает болезнь-к-смерти прямо-таки скоростижной. Сравнительно недавно вокруг «точки равновесия» сформировалась небольшая, но очень колоритная нестяжательская коммуна, получившая название «митьков- ствующие». Эти несгибаемые наследники бомжей хранят верность своему гордому девизу: «Ни дня без рюмки!», но сохраняют при этом и своеобразное достоинство. Как ни странно, образовательный ценз этой коммуны один из самых высоких во всем нестяжательском движения — как было когда-то и у их духовных предшественников митьков, но ареал их обитания ограничивается Россией, и даже, кажется, одним только Питером. Северо-Западный совет племен попытался недавно осудить ересь митьковствующих, однако



бланкисты выступили решительно против. Огласивший их позицию Купрум резонно заметил, что хотя митьковствующие практически не вносят свою лепту в подвеску, зато их вклад в бытие-поперек более чем существен...

Помимо действенного милосердия, недоступного никаким институтам благотворительности, подвеска продолжает играть роль решающего инструмента в дискредитации и преобразовании общества потребления. Можно упиваться азартом перпендикулярного бытия

(как сказал поэт, «всё дуреешь на просторе»), можно обличать потреблятельство со всей вещей силой красноречия и «краснодействия» (той же flash-мобилизации), можно, наконец, воспитать в себе воинственность и несокрушимость духа. Но ведь иногда необходимо хотя бы перевести дух, закрепиться на завоеванном плацдарме — а это невозможно без альтернативного способа дистрибуции вещей. Если для поддержания жизни необходимо систематически «ходить в магазин» и платить деньги, а для этого, в свою очередь, подключаться к процессу труда, то есть *приносить пользу*, совершать жертвоприношение чудовищу, погубившему всех донкихотов, — бунт рано или поздно будет обречен на поражение.

Но ситуация радикально меняется, когда возникает автономный круг жизнеобеспечения. Здесь циркуляция вещей и смыслов не подвержена товарной форме, здесь не действует закон стоимости. Сама же Парящая-над-Землей точно сформулировала основополагающий принцип подвески: обесмысливание товарного эквивалента, первоосновы подлости этого подлого мира. Подвеска устраняет и строгую транзитивность архаического одаривания (потлача), которая, по справедливому замечанию Леви-Строса, делала дар механическим социальным жестом, обеспечивающим воспроизводство иерархической структуры социума. Рикошетные обмены нестяжателей не поддаются расчету, неподвластны никаким исчислимым порядкам, в них словно бы встроен невидимый датчик случайных чисел. Подвеска — это материальная ипостась свободы.

Свои соображения на эту тему высказывали и видные бланкисты, и многие другие нестяжатели. В том числе и Ютака Эйто:

*Изъятие вещей из-под власти золотого тельца, привыкшего оставлять на них свою родовую отметину, отпечаток товарной формы, — это жест беспрецедентно радикальный. Очень важно уяснить, что вещи, движение которых не опосредуется денежным обращением, проходят тем самым очистительный обряд и становятся экологически чистыми. Причем чистыми именно в том первичном смысле, в каком понимали этот термин индийские брахманы.*

*Экологические движения Европы конца XX века, тогда еще именовавшие себя «зелеными» (в честь баксов, что ли?), постоянно допускали роковую ошибку—роковую и в то же время детскую. Они боролись за «экологически чистые продукты», за «нетронутую природу», за сохранение разнообразия видов. .. Цели сами по себе благородные, вроде бы и нечего возразить. Но борцы за земную чистоту не знали, а точнее говоря, не желали знать, что главное искажение и загрязнение в человеческую природу вносится именно вещиизмом. Вещиизмом во всех его формах — от тяжелых и хронических до вполне невинных на первый взгляд. Если нас в этом мире представляют деньги и если сам мир, чтобы предстать перед нами, требует от нас денег, значит, фальшь и противоестественность уже заложены в ход вещей. И никакие гринписовские примочки тут не помогут, — как говорит старая японская*

пословица, «бесполезно подметать пол, пока в доме нет крыши». Когда примесь духовного яда содержится в самих вещах без какого-либо исключения, будь то хлеб насущный или материализованные иллюзии, нелепо ополчаться против генетически измененных огурцов. Достаточно присмотреться к тому, что показывают во всех окнах mass media, чтобы понять: эта планета находится под воздействием острой товарно-денежной интоксикации, уже вызвавшей соответствующие мутации, необратимые для большинства ее нынешних обитателей.

С высоты птичьего полета мир и сейчас таков. Но в нем уже есть экологически чистые зоны, свободные от мутировавших, искаженных форм человеческих отношений. Поддерживая и расширяя их, мы создаем среду обитания, куда не в состоянии проникнуть буржуазия, потому что ее жабры непригодны для вдыхания чистого воздуха нестяжательства. Все прежние резервации, включая советский и китайский коммунизм, были безнадежно инфицированы возбудителями алчности. Никто до нас не смог ослабить власть денег, их власть над человеческим воображением. Нам это уже удалось, и мы пойдем дальше. Ведь принципы существования крепнущих нестяжательских племен подрывают не чью-то персональную власть и даже не классовое господство — они подрывают основы так называемой сберегающей экономики, которая всегда была основана на принципах корысти и пользы, а главное, на отравленных грезях, на передаваемой из поколения в поколение пагубной привычке грезить деньгами. И вот мы сбили жар их воспаленного воображения. Мы показали, как можно без всего этого обойтись, показали, насколько чище и ярче становится жизнь, если она поддерживается экологически чистыми вещами.

Потому-то и прозвучал анонимный клич: «Вещеглоты всех стран, соединяйтесь!» — и они накинулись на нас. Ни с преступностью, ни с политической оппозицией они не вели такой тотальной борьбы, как с нестяжателями, хотя нам от них ничего не нужно. Мы-то знаем, конечно, что именно поэтому позиция имущих оказалась такой непримиримой. Когда выяснилось, что нечто, нужное им больше всего на свете, кому-то не нужно вообще, они стали терять почву под ногами. Когда они увидели, как они неинтересны нам, они перестали делать вид, что интересны друг другу. Теперь, как мне кажется, проблема вот в чем. Мы уже превзошли стяжателей силой духа, что, пожалуй, было и немудрено. Осталось еще превзойти их изобретательностью, а это значит не давать себе покоя, не ослаблять натиск бытия-поперек. (Перевод с японского Лены Микадо, Санкт-Петербургский подвесной университет.)

В каком-то смысле необходимость противостоять вызову нестяжательства придала свежих сил угасающей цивилизации. Во многих странах на основе полиции были созданы специальные подразделения чистильщиков, призванные подорвать автономию коммун и восстановить «контроль общества» над блудными чадами. Сколько уже грантов потрачено на сегодняшний день (и до сих пор тратится) с единственной целью реабилитации асоциальных элементов) До недавнего времени на крупные корпорации Европы и Америки помимо прочих налогов возлагалась обязанность организации «общественно полезного труда» для заблудших. А новые многочисленные учреждения, предназначенные для принудительной полезной деятельности? Пожалуй, ближайшим аналогом тут могут служить давние советские попытки перевоспитания тунеядцев, осуществлявшиеся, впрочем, с тем же успехом: перевоспитуемые в конце концов «сворачивали» перевоспитующих...

В Амстердаме, всегда гордившемся своими свободами, более двух лет пытались вести борьбу с подвесными обманами, круглосуточно уничтожая все появляющиеся предложения и штрафуя заставаемых на месте преступления как нарушителей чистоты и порядка (взыскать штраф, правда, удавалось довольно редко). Понятно, что успехом эта политика не увенчалась, вскоре была найдена альтернатива альтернативе — сформировалась *живая подвеска*. Молодые люди, увешанные цветными ленточками и прилагающимся к ним грузом, буквально заполнили Амстердам. Эти веселые, полные жизни парни и девушки выгодно отличались от унылых блюстителей порядка, замаринованных в собственной серьезности исполняемого долга. Неудивительно, что в итоге общины лишь пополнили свои ряды, уведя с собой тех, в ком не угасло чувство жизни, — по этой же причине постепенно были свернуты и реабилитационные программы корпораций. И поскольку территории урбанистических джунглей только расширялись, а способность традиционного истеблишмента к ясно выраженной политической воле, наоборот, меркла, ничего радикального спонтанным процессам антропогенеза противопоставить не удалось.

Ничто не мешает рассматривать городские трассы подвески как аналог охотничьих тропок в природных (первичных) джунглях. Современные племена так же выходят на охоту, совершая ежедневные рейды в поисках хлеба насущного и духовной пищи. И бетонно-пластиковая природа одаривает их, чем может, вознаграждая авантюрное начало, ведь у нее нет других первородных детей. Нестяжательские племена — это по большей части кочевники, располагающие лишь временными стойбищами. Они не создают запасов, руководствуясь принципом «будет день — будет пища» и предпочитая жить налегке.

Тем не менее собирательство да и подвесные обмены в целом не являются единственным источником существования коммун. Нестяжатели прибегают и к труду, так или иначе связанному с принесением пользы, но, следует заметить, к труду всегда кратковременному и ситуативному, как труд поденщика, к труду, зачастую содержащему внутреннюю провокацию, неустрашимый, хотя порой и не сразу заметный элемент перпендикулярного бытия. Существенная роль в поддержании материальной базы принадлежит и просто сочувствующим, тем, кто не входит в состав племен. Симпатизирующие пользуются ответной симпатией тех, кто совершил более решительный шаг; расширенный симбиоз, в свою очередь, подрывает всевластие вещеглотов, разрушая главный оплот — универсум систематического труда.

Есть среди нестяжателей и «высшие касты», в чем-то подобные брахманам Индии. Критерии принадлежности к ним не отличаются особой четкостью, не существует и единого общепринятого термина для обозначения этих своеобразных подвижников недеяния. Самые **праведные** из нестяжателей берут обет вообще не прикасаться к деньгам, они имеют дело лишь с вещами, уже прошедшими обряд очищения от товарной формы, то есть с вещами подаренными или снятыми с подвески. «Ведь подвеска, — говорит Гоун, — снимает с вещей печать алчности, удостоверяющую их появление на свет, подобно тому как шлепок акушерки встречает появление каждого новорожденного».

Приверженцев таких строгих правил бланкисты поначалу называли отказниками. Бланк, как известно, к ним заведомо не принадлежал, весьма прохладно относясь к ритуализации и осуждая любые проявления фетишизма. Однако жест радикального отказа, жест **необладания** в его абсолютной чистоте имеет значимость эталона, который требует своего хранителя. Эта тема нередко обсуждалась Бланком и его друзьями.

БЛАНК. Наш принцип — *контактное проживание*. Мы ведь не уходим от жизни и не отстраняемся от нее. Мы только выбираемся из наезженной колеи, в которой жизнь давно уже угасла. Очень важные вещи основываются на маленьких различиях.

совсем незаметных на первый взгляд, хотя я думаю, что не замечать их тоже своего рода искусство. Тут действует заповедь, придуманная еще в античности и, в отличие от святых заповедей, выученная назубок и успешно применяемая. Потому что она представляет собой формулу духовной капитуляции перед Мельницей-Гидрой и ее жрецами. Заповедь гласит: если не можешь достичь желаемого, научись желать достижимого. Чему-чему, а этому все научились. Образцом удавшейся жизни служит непрерывное достижение достижимого, а несбыточность достижимого — прямо-таки синоним социальной несправедливости...

КРОТ. Бланк, хорош уже про домик Тыквы...

БЛАНК. У тебя, я вижу, новая курточка, Крот. Где раздобыл?

КРОТ. Ну подарили. В магазины я не хожу, сам знаешь.

БЛАНК. Рад за тебя. Ну так вот, о маленьких различиях. Радость, доставляемая вещью, напрямую зависит от способа ее приобретения. Скажем, имущество, заработанное честным трудом, — это предмет законной гордости. Нет на свете выше звания, чем честный труженик, так думает каждый честный труженик, к радости жрецов идолища поганого... Ведь эти подобию мыслей — прекрасная закваска для зависти и жлобства, а следствие нелепой гордости — добровольно принудительное порабощение.

ВИКА. По-моему, Бланк, обличение нажитого честным трудом — не самая актуальная наша задача.

БЛАНК. Конечно. Но и считать *гордость честного труженика* образцом всех человеческих добродетелей тоже не наша задача. С этой задачей прекрасно справляются высокооплачиваемые моралисты, которым находится работа при любом режиме. Теперь обратите внимание, что лучшие вещи, которые нам достаются, в корне отличаются своим происхождением и от фетишей общества потребления, и от пожитков честного труженика. Они, эти вещицы, достались нам *без труда*, они нам подарены или сняты с подвески. Мы не внесли за них никакого эквивалента, следовательно, они освобождены от проклятия товарной формы, от субстанции стоимости. Субстанция наших легких даровых пожитков та же, что у рукопожатия, улыбки или поцелуя, и чем больше производных этой субстанции в нашем обиходе, тем чище наши отношения и мы сами.

ВИКА. Да, радость от подарка, от нечаянного приобретения совсем не та, что от выстраданной покупки. Непосредственная...

БЛАНК. Верно, Вика. Я бы сказал, что принцип вознаграждаемой беспечности — самая благодетельная сила в нашем мире. Но она не относится к сфере человеческого промысла. И кстати, ощущение обладания приобретенной, давно желаемой вещью может быть куда более интенсивным, чем ощущение от вещи, которой предстоит у тебя немного погостить. Дело вовсе не в эмоциях самих по себе, а в неизбежной примеси отравы, сопровождающей любой эквивалентный обмен. В том числе и покупку. Возникает эффект отравленной стрелы: ранка вроде бы небольшая, но проходит время, и яд, проникший в организм, вызывает смерть. Приобретение, ставшее исполнением желания, закрепляет в душе путь, приведший к этому результату. Ты трудился, откладывал, отказывал себе во многом — и прежде всего в себе самом отказывал, и вот наконец получил заслуженную награду — соковыжималку с двадцатью рабочими режимами. Блестящее достижение! Да к нему еще прибавляются зависть и уважение окружающих, тех, кого ты опередил.

Принцип действия яда — в бесконечном повторении пройденного. По мере того как настоящее и ближайшее будущее зацикливаются на приобретательских действиях, твой

садик желаний зарастает монокультурой, какой-нибудь стандартной кормовой кукурузой. Внес удобрение, получи добро — каждая покупка утверждает тебя в этой уверенности.

Знаете, чем набиты чучела покупаемых вещей? Трухой размолотого времени. До своего перемалывания это разнокачественное время составляло плоть чьей-то особенной жизни. Теперь это стандартная начинка, пригодная для удовлетворения материальных и духовных запросов — разумеется, таких же стандартных. Верный путь к тому, чтобы превратиться в свое собственное чучело.

Экологически чистая вещь по крайней мере безопасна. Быть может, тебе досталось не то, о чем ты грезил. Зато теперь ты в состоянии понять, что те грезы унижали твое воображение. Вещица, снабженная ленточкой, это послание, в котором тебе желают нескольких приятных минут; в нем может быть совсем простой смысл: ты не одинок в этом мире. Тем самым с помощью ленточки обламывают наконечник отравленной стрелы, а Гидра не получает никаких процентов с подвесных обменов.

Но мы живем не в экологическом раю. Мы все еще живем в тени супермаркетов, и лишь немногие могут позволить себе полную свободу от товарно-денежного обращения. Я даже не думаю, что мы должны к этому стремиться как к самоцели. Вполне достаточно, если посещение магазинов будет вызывать не больше энтузиазма, чем посещение других мест общественного пользования, куда мы заходим *по нужде*, а не для того, чтобы полюбоваться...

КРОТ. То есть делать можно, но без всякого удовольствия. А то вот, Бланк, женщины иногда говорят:

«Если тебя насилуют и этого нельзя избежать, постарайся, по крайней мере, расслабиться и получить удовольствие».

БЛАНК. Нуда, с этого и начинался наш разговор: если не можешь достичь желаемого... Но совет довольно бессмысленный, ведь как раз эту стратегию человечество освоило в совершенстве. Пожалуй, круче было бы сказать по-другому: если тебе кажется, что ты живешь в свое удовольствие, приглядиись внимательно, не насилуют ли...

ГОЛОС. Оглянись вокруг себя, не...  
(*Беседа тонет в общем шуме.*)

Из приведенного отрывка видно, что отношение бланкистов к новым брахманам хотя и уважительное, но весьма далекое от безграничного пиетета. Да и сами они, исповедуя строжайшие принципы нестяжательства, не претендуют на руководящую роль в движении, довольствуясь уважением понимающих. Сравнительно недавно утвердилось новое слово для обозначения нестяжателей-праведников — *вознесенные*. Происхождение термина связано с тем, что некоторые из этих людей отказывались не только держать в руках деньги, но даже спускаться на землю (на городской асфальт), проводя время на крышах, чердаках и в жилищах друзей, куда они попадали в основном сверху, спускаясь (*спусходя*) с помощью походных веревочных лестниц. Подобная «прихоть», конечно, вовсе не является атрибутом всех праведников (в отличие от приверженности исключительно к экологически чистым вещам), но любопытно, что после появления термина «прихоть» получила широкое распространение.

Вознесенных пока сравнительно немного среди нестяжателей, и они не составляют какого-либо отдельного племени или коммуны — свои вознесенные есть в разных течениях (как заметила Гелиос, «всегда должен быть кто-то, перед кем не стыдно было бы стыдиться своих поступков»). Зачастую это совсем молодые люди, отлично справляющиеся с задачей поддержания высокой планки, отнюдь не впадая при этом в грех уныния; как правило, и flash-мобилизации, и другие акции перпендикулярного бытия

проходят при активном участии праведников. Одним словом, ничто нестяжательское им не чуждо, идет ли речь о вознесенных бланкистах (сам Бланк к ним не принадлежит), рискарбайтерах, теруцци или макаси.

Даже у митьковствующих есть свой вознесенный — преподобный Дык. В Питере о нем слагают легенды. Дык способен заснуть, привязавшись к веревке и раскачиваясь между небом и землей. На его одежде виснут летучие мыши, сопровождая праведника во время сознательного или бессознательного паломничества. По свидетельству верных товарищей, более чем лаконичные наставления преподобного Дыка стали источником просветления для сотен вещеглотов. Надо ли говорить, что священный принцип своих соплеменников — «ни дня без рюмки» — праведник соблюдает самым строжайшим образом. Дык воистину любим Господом. Кстати, митьковствующие при встрече так и приветствуют друг друга:

—Дык воистину любим Господом!

—Воистину Дык!

Следует еще заметить, что забота о тех, для кого подвеска единственно приемлемый способ жизнеобеспечения, это дополнительный источник солидарности племен. А вклад вознесенных в массовое дезертирство с Острова Сокровищ трудно переоценить.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Виртуальное измерение

Тексты, *подвешенные* в интернете, тоже, разумеется, явились прообразом подвесных трасс и почтовых ящиков, а впоследствии они органично вписались в новую всемирную паутину.

Блуждание по сайтам всегда было удовольствием особого рода, удовольствием, хорошо понятным виртуальным бродягам и крайне загадочным для сторонников *ratio*. И когда эти компьютерные странники стали переселяться в джунгли целыми общинами, они не только не отказались от своих прежних увлечений, но и добились того, чтобы походный ноутбук приравнивали к веревочной лестнице в качестве предмета первой необходимости. Большинство племен согласилось с этим (в том числе и бланкисты, демонстративно отказывающиеся даже отношения часов). Впрочем, обратный шаг из виртуального измерения в реальное многое изменил для шагнувших, но он стал следствием решительного перехода через незримую границу резерваций.

В свое время философ Николай Федоров рассматривал привилегированные формы символического (мифы, притчи, заповеди) как простые, но очень важные напоминания: вот вам то желаемое, что следует во что бы то ни стало сделать реальным. Не можешь — передай дальше, но не упусти случая овестить хотя бы один маленький фрагмент.

С тех пор и отчасти благодаря этому реализация далеко шагнула вперед: желания, воплощенные в коврах-самолетах, сапогах-скороходах, в наливных яблочках на золотых блюдечках, осуществлены и стали будничным антуражем. В сущности, они давно превзойдены изощренностью разума. Вот только в этих желаниях, которые исполнила техника, никто не усмотрел родства с их предковыми формами, с заветными желаниями сказок. Нестыжатели знают, почему это произошло. Дело в том, что сказочное (а стало быть, даровое) предстало в камуфляже товарной формы. Диковинные вещи являлись пред лицом человека не как лист перед травой и не благодаря волшебным палочкам, а благодаря уплаченным денежкам (волшебным бумажкам). Тем самым их сокровенная сущность, соприродная субстанции заветного желания, была непоправимо повреждена.

С переносом в реальность висячих садов интернета все произошло несколько иначе. Здесь сброс в железо, в плотные слои социальности был опосредован не зелеными бумажками, а разноцветными ленточками. Может быть, поэтому та же flash-мобилизация до сих пор не утратила привкуса чуда, в отличие от полета на самолете или просмотра «ящика». Многие из того, что прошло проверку на виртуальном полигоне, было теперь инсталлировано в маргинальных зонах социума, и обитатели этих заброшенных территорий должным образом использовали сказочный подарок.

Тем не менее революционность свершившегося перехода очевидна. Что ни говори, а перемещения в сети можно лишь косвенно сравнить с шатаниями по городу. Разница здесь примерно такая же, как между теоретическим обличением вещиизма и реальной практикой бытия-поперек. Некоторым образом сидящий за монитором со всех сторон обложен подушками безопасности, в том числе и *внутренними подушками*, которые впитывают легкий адреналин. Прививка навыка виртуальных странствий к повседневным маршрутам самой жизни, которая теперь уже не имеет раскадровки в виде обязательных расписаний, приводит к двояким последствиям. С одной стороны, сорное время будней

поглощает высокие скорости виртуальных перемещений, возникают характерные «зависания», которые и побуждают уйти в виртуальный мир. Но с другой стороны, отсутствие подушек и ремней безопасности вызывает внутренний гормональный дождь, резко усиливая контактность проживания при сохранении очень важной авантюрной составляющей.

Обращаясь к юзерам Е-бурга, Бланк, в частности, сказал: «Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что Господь Бог величайший Программист. Конечно, его программа задается не двоичным кодом, не последовательностью нулей и единиц, а самим раскладом вещей. Но это очень продвинутая программа. И если бы вы знали, как Господь вознаграждает тех, кто прошел хотя бы на второй уровень, вы были бы с нами, а не сидели бы перед отстойными игрушками».

Формирование мобильного жизненного мира нестяжателей происходило на встречном движении виртуальной сетевой утопии и суровой реальности первого уровня. Клубок легких скоростей натолкнулся на противоестественный ход вещей, в котором все трассы сплетаются в лабиринт, препятствующий переходу на второй уровень, — лабиринт Минотавра по сравнению с этой ловушкой просто пустяк. Встречное движение вызвало завихрение обоих потоков, фигурально выражаясь, обильную пену, которая, однако, вскоре схлынула, обнажив архипелаг обновленного бытия.

Каким оно будет в своей устойчивой форме, сказать трудно, но опыт «эмигрантов из сети» уже сыграл важную роль в жизненном укладе автономных коммун. Это, например, опыт общения по существу, без ритуальных расшаркиваний и риторических паразитизмов. Это отсутствие привычки к пожизненной идентификации и готовность в любой момент сменить свою «железную» биографию на ту или иную сетевую версию. Прививка обогатила и одновременно освободила от мусора экзистенциальный проект нестяжательства, научив новых охотников и собирателей, что их сегодняшний день ничем не обязан дню вчерашнему. И ничего не обещает завтрашнему дню. Это и есть краткая формулировка принципа трансцендентальной беспечности.

Тексты, подвешенные в интернете, пришлись ко двору и в условиях новой подвески. Процесс конвергенции представляется чрезвычайно любопытным, хотя его первые, самые важные этапы изучены явно недостаточно. Известно, однако, что уже в «Личике» наряду с прочими полезными и бесполезными вещицами стали оставлять послания «литературного характера». Среди первых было короткое стихотворение, причем автор его остался неизвестен, в отличие от первых читателей, среди которых был и Кубинец, ныне лидер бланкистской коммуны Замоскворечья, Стишок был написан прямо на пачке сигарет — ее как раз и снял Кубинец, порадовавшись удивительному совпадению спроса и предложения. Закурив сам и угостив товарищей. Кубинец заодно огласил прилагавшееся послание:

Я сегодня совсем никакая,  
Я сегодня совсем не своя.  
Если даже себе я чужая,  
То кому я сегодня нужна?

А кому буду завтра нужна?

А кому послезавтра нужна?

А кому через месяц нужна?



Последняя строчка явно не поместилась на пачке. Это дало компании повод неплохо провести время, домысливая кульминацию и отслеживая литературные влияния, испытанные стихотворцем. Обсуждение незатейливого стихотворения продолжалось, пока не кончились сигареты. Такое внимание не могло даже и при-сниться самодеятельному автору, разместившему свой опус случайным образом где-нибудь в сети. Благодаря популярности Кубинца история о забавной подвеске быстро распространилась. Трудно сказать, насколько она повлияла на дальнейший ход событий, но в формирующуюся подвесную трассу литературная составляющая (точнее будет сказать, художественная составляющая) влилась уже широкой рекой.

Распространение символических ценностей через альтернативный канал обменов прошло несколько этапов. На первый взгляд рассылка «в железе» (то есть в бумаге) представляется регрессом: стоило ли создавать всемирную паутину, обустривать электронные кладовые, теоретически способные обеспечить чуть ли не вечное хранение вкладов, за ручку и доверить свое детище случайным прохожим? Но все не так просто. Да, тот факт, что свободные обмены через подвеску единичны или «штучны», заставляет, конечно, забыть о массовости электронной рассылки, зато тем самым на порядок повышается персональная адресованность.

В действительности «вечные» электронные кладовые забиты хламом, до которого нет дела даже электронным мышам. А то, что снято с подвески, будет непременно прочитано, прослушано, если речь идет о музыке, удостоится внимательного взгляда, если предложено что-нибудь изобразительное. Случайные прохожие, скорее всего, окажутся такими же странниками, как и ты, что существенно повышает вероятность встретить понимание. Одинокое попадание, конечно, уступает возможностям многоцелевой баллистики, но явно превосходит залп вхолостую... И авторы очень быстро оценили это обстоятельство.

Представим себе вольного бланкиста, идущего по заброшенной территории бывшего завода ЛОМО в Петербурге, то есть по самому сердцу индустриальных джунглей города, куда уже много лет не ступала нога ни одного вещеглота. Сегодня утром ему досталась подвешенная чашечка кофе, билет на выставку сторожевых собак и еще несколько приятных, экологически чистых безделушек. На случайные денежки, полученные в порядке спонсорской помощи родителей, наш бланкист приобрел лапы и подвесил их в давно любимом месте. Лапам кто-нибудь непременно порадует, а путник этой радостью уже рад. Понятно, что настроение у него приподнятое и походка его легка.

Заметив у столба развевающуюся на ветру желтую ленточку (знак принадлежности послания к духовной пище), наш герой направляется туда и снимает посылочку. Возможно, что в другом настроении он прошел бы мимо, но сегодня и сейчас пища духовная будет ему в кайф. И бланкист разворачивает свернутый в трубочку листок из блокнота, содержащий четверостишие в духе изумрудной версификации:

Сара Фан и Ира Фан —

Жили две сестренки.

Был у Сары толстый стан,

А у Иры — тонкий...

Бланкист улыбается и пожимает плечами. Затем кладет листок в карман и идет дальше. Он идет себе дальше, но вскоре обнаруживает, что невольно напевает про себя:

Сара Фан и Ира Фан —

Жили две сестренки...

Послание сработало. Встреча с искусством состоялась, и дух преобразовал материю.

Эта забавная история записана со слов Птичника, преподавателя Подвесного университета, причем последние два предложения записаны слово в слово. Встреча с читателем действительно состоялась — и вне всякого сомнения, это была приятная встреча, желанная для любого автора. Не исключено даже, что неизвестный автор наблюдал из укрытия за читательской реакцией (что нередко случается). Что ж, в этом случае он или она получили свой резонанс, свое заслуженное вознаграждение, которое, несмотря на единичность воздействия, относится к фимиаму высшей пробы. Вроде бы воздействие на уровне микродозы, но зато без всякой фальсификации. Можно, пожалуй, сказать, что авторское вознаграждение предстает здесь в столь же экологически чистом виде, как и сами вещи, распространяемые по подвеске.

Происходящий в массовом порядке перевод авторских посланий с электронных носителей на ленточные вновь заставляет задуматься об эволюции статуса художника. Дарение своих опусов в качестве фенечек, широко распространенное еще у экзистенциальных авангардов XX века (разумеется, практикуемое и новыми нестяжателями), представляет собой все-таки малый круг циркуляции: творческий замысел автора в значительной степени определяется знанием конкретного адресата. Но распространение произведений на ленточных носителях, сохраняя единичность заброшенности в мир, ближе к большому кругу. Здесь мы имеем дело с новой аватарой предъявления послания миру (предыдущей была публикация). Ведь и подвесная публикация не связана никаким угождением, по большому счету она так же выносится на суровый суд, как и публикации эпохи Гутенберга. И значимость этого суда только возрастает от того, что решающее слово принадлежит не профессиональному критику, а возможно, единственному, но зато абсолютно непредвзятому читателю. Примером для подражания подвесным авторам непосредственно служат творческие принципы Того, Кто Развешивает Сливы.

\*\*\*

История подвесной культуры весьма поучительна, несмотря на ее краткость. Как только были проложены первые подвесные трассы, возник настоящий бум предложения, в десятки раз превышающего спрос. Здесь, на развалинах социальности, энергия графоманства в очередной раз продемонстрировала свою способность проникать в любую нишу эскапизма. Любой посторонний наблюдатель мог убедиться, что воля к производству осталась последней движущей силой западной цивилизации — какое-то время даже казалось, что эта сила неукротима.

Авторские послания заполнили формирующуюся сеть: каждый кому не лень норовил подбросить свой опус обитателям индустриальных джунглей. Большая часть озабоченных авторов не имела никакого отношения к нестяжательскому движению — скажем так, никакого другого отношения. Но праздные скитальцы, не располагая средствами для материального вознаграждения, да и презирая принцип эквивалентных расчетов как таковой, располагали тем не менее самым драгоценным для автора

читательским ресурсом — свободным временем. Ясно, что голодные духи авторствования, учуяв такую роскошную приманку (свободные уши!), слетелись на нее как мухи на мед.

Понятно также, что для ленточных носителей угроза интеллектуально-духовного спама оказалась более серьезной, чем та же проблема в электронной сети. Причина уязвимости, конечно же, в том, что обработка ленточных носителей требует несопоставимых затрат времени, а также инвестиций личностного присутствия, без чего вполне можно обойтись в режиме быстрого просмотра электронных документов. Нетрудно представить себе разочарование открывающего посылку, он-то надеялся увидеть подержанный скейтборд, удобный складной стаканчик или, на худой конец, какой-нибудь съедобный помидор... А вместо этого — очередной «крик души». Да, крик достоин сочувствия, но сегодня он уже далеко не первый, все пытаются перекричать друг друга — а помидор такой сочный, и сигарета не помешала бы, да и баночка пива пришлась бы кстати... И вот посетитель «Грдлички» или «Пестрой ленты» в ярости топчет дискету с каким-то самодеятельным музыкальным предложением. В результате в подвешенных кафе и в так называемых «точках», где за подвеской кто-нибудь наблюдает, перестали принимать произведения. Что, впрочем, не спасло положения: коварные авторы тут же перешли к практике «вкладышей» (с чего все и начиналось, если верить Кубинцу), да и внешнюю городскую подвеску проконтролировать невозможно.

К чести нестяжателей, им удалось справиться с наваждением. В каждом регионе этот вопрос решался по-своему. В России, где тем же бланкистам в ряде отношений удалось добиться удивительной чистоты и *интенсивности* нестяжательства, справиться с вирусом маниакального авторствования оказалось труднее всего. А вот проблеммейкеры Нью-Йорка и аргентинские *лумахос* решили вопрос сравнительно легко... Тут можно лишь заметить, что особенности национальных менталитетов отнюдь не смыты волнами нового антропогенеза.

Приемлемое же решение сложилось благодаря совпадению ряда обстоятельств. С чисто технической стороны удачным ходом стала *желтая ленточка*, повсеместно утвердившаяся в качестве отличительного знака духовного послания. На сегодняшний день только культурные посылки имеют свой особый цвет подвески. В экзистенциальном плане сыграли важную роль тенденции, обозначившиеся уже в эпоху всемирной паутины: дискредитация *позы мудрости* вообще и *магии печатного слова* в частности (действительно, какая там магия, если каждый волен размещать в сети все что угодно). Опять же интернет если и не упразднил совсем, то все же решительно упростил церемониал цитирования и прочих библиографических расшаркиваний. Слившись с другими тенденциями, сетевые влияния внесли огромный вклад в развернувшуюся культурную революцию, сопровождающую процесс антропо- и социогенеза. Среди участников подвесного обмена заведомо не существует привилегированных фигур, каждый может подвесить и снять то, что найдет нужным. Поскольку ни симметричность, ни транзитивность, ни тем более эквивалентность в этих обменах не соблюдаются, какая-либо персональная пометка становится совершенно излишней. И как только коллективный читатель выразил непоколебимую волю игнорировать персональную атрибуцию духовных вкладов, *литподвеска* тут же вошла в общее русло нестяжательских практик, заняв подобающее ей место в общем круге подвесных обменов.

Когда автор обнаруживает, что поставленная им подпись это всего лишь проявление дурного тона, когда он убеждается, что поставить свою подпись под текстом, предназначенным для подвески, и поставить себя в смешное положение это практически одно и то же, он уже легко поддается процессу внутреннего перевоспитания, а лихорадка авторствования идет на спад. «Желтая лихорадка», возникающая время от времени в том или ином очаге индустриально-урбанистических джунглей, протекает в несравненно

более мягких формах, чем эпидемия маниакального авторствования, свирепствовавшая в XX столетии.

Тот, кто оставляет подвешенным в кафе какое-нибудь угощение, не сообщает своего имени. В частности потому, что он по опыту знает, как разочаровывает необходимость навязываемой благодарности. Мир, в котором настоятельно подчеркивается, кому и чем ты обязан, есть мир покидаемый, а не обретаемый. Подвешенные вещи экологически чисты именно потому, что их «отправитель» не рассчитывает на компенсацию даже в том смысле, что ему это когда-нибудь «зачтется», а получатель, испытывая благодарность, никак ее при этом не персонифицирует. В сущности, подвесной обмен регулируется евангельскими принципами. Почему же какое-нибудь стихотворение должно быть исключением? Почему оно должно сниматься с подвески иначе, чем божьи сливы, требуя еще какой-то эксклюзивной признательности алчному автору?

Сегодня содержимое посланий, отмеченных желтой лентой, либо вообще не содержит подписи, либо подписано ником. Ник лишен родовых пороков *имени собственного* (кстати, кто является действительным собственником имени собственного, хорошо знали даосы), в частности, невозможно удостоверить постоянную самотождественность соответствующего ему лица. Ну а если кто и спрятался в укрытии, чтобы понаблюдать за реакцией попавшегося читателя, так это в пределах естественного хода вещей. Ведь и оставивший связку бананов может при случае поступить так же: разве не вправе он приобщиться к резонансу причиненной нечаянной радости? Разве он не вправе убедиться, что содеянное им *хорошо весьма*?

Как раз отправитель символического предложения, автор произведения, оказывается в более сложной ситуации. В отличие от предложившего ласты или те же бананы его может ожидать жестокое разочарование: опус имеет все шансы не понравиться. И хотя дезертиры с Острова Сокровищ в целом снисходительны ко всем адресованным им символическим посланиям (не каждый автор — Пушкин-Изумруд), имитировать энтузиазм они тоже не будут — не для того дезертировали, оставив лицемерам их лицемерные церемонии.

Желтые ленточки как предупредительные знаки — это своего рода охранные грамоты для хрупких посылок, что-то вроде надписи «не кантовать». Цвет ленты предупреждает: здесь точно не банан (кстати, какой выгодный контраст с навязчивостью массовой культуры общества потребления), и если уж кто-то снимает послание с подвески, значит, он намерен ознакомиться с ним, и не между делом, а в полноте присутствия. Примат пищи духовной обеспечивается ее обособлением, тем самым в полной мере исполнено требование не путать божий дар с яичницей, хотя аборигенам джунглей лучше, чем кому бы то ни было, известно, что яичница — это тоже божий дар. Таким образом, счастливое совпадение ряда обстоятельств привело к тому, что анонимное, но доставшееся тебе лично культурное послание приобрело форму шанса, сравнявшись в этом отношении с дождем, завтраком на траве или внезапной смертью от сердечного приступа.

Распространение новых (вновь созданных) произведений на ленточных носителях оказало обратное воздействие и на способы усвоения классической культуры. Перевод классического наследия на ленточные носители прошел в полном соответствии с теорией Маклюэна: особенности новой медиа-среды изменили облик нетленных ценностей. Не чтобы уж до неузнаваемости, но по крайней мере так, что для внешнего наблюдателя стали вполне возможны обзнатушки.

Ценность из сферы символического, отправляемая в подвеску, может быть создана самим отправителем, однако это необязательно. Допустим, что отправитель очарован чем-то помимо собственного творчества — такое возможно, и, к счастью, нестяжательская культурная революция эту возможность упрочила. Тогда предмет твоей

очарованности можно передать дальше по эстафете, снабдив свое послание привычной уже желтой ленточкой и проделав определенную редакционно-издательскую работу, правила которой тоже уже устоялись и стали общепризнанными. Вот как сформулировала их содержательную сторону Ирина Бутоева:

«Редко какая книжка нравится целиком, от начала и до конца. Всегда есть любимые страницы — в них заключено то, что тебя задело, и именно этим ты хочешь поделиться. Зачем тогда понапрасну грузить другого — вырви то, что тебе понравилось, и подвесь. Или перешли, набери на компьютере — тогда можно изменить кое-что, чтобы было совсем так, как тебе хотелось».

Сегодня именно таким образом культурное наследие и поступает в подвеску. Чтобы очистить духовный продукт от наслоений собственности, от родимого пятна буржуазности, достаточно применить элементарные очистительные обряды (поскольку главный «обряд», сама подвеска, уже предполагается). Подобно тому как с вещи смывается их товарная форма, то есть необходимость платить хотя бы персонально адресованной признательностью, с ленточных носителей «смывается» имя автора. Если книга, точнее говоря, ее текст подвешивается целиком, обложка отрывается заранее и выбрасывается. Никаких прямых директив на этот счет, конечно, нет, но получается, что осуществляющий подвеску должен так или иначе позаботиться об уничтожении следов персональной атрибуции произведений, подобно тому как врач должен позаботиться о дезинфекции своих инструментов.

Достигнутая сегодня самоочевидность очистительного обряда, совершаемого над ценностями из круга символического, отправляемыми в подвеску, является едва ли не главным поводом для обвинения новых племен в вандализме. Язвительная критика со стороны стражей духовности и состоящих на службе интеллектуалов не смолкает и по сей день. Даже авторы, во многих других отношениях сочувственно относящиеся к дезертирам с Острова Сокровищ, «не понимают», как можно допускать подобное *варварство*. Зато критикуемые прекрасно понимают своих критиков. Им есть на что сослаться. Даже сам Карл Маркс, великий теоретик обобществления и сторонник решительной экспроприации собственников, с поразительной *наивностью* пишет в предисловии к «Капиталу»: «Кстати сказать, если Ф. Лассаль все общие теоретические положения своих экономических работ, например об историческом характере капитала, о связи между производственными отношениями и способами производства, заимствует из моих сочинений почти буквально, и притом без указания источника, то это объясняется, понятно, соображениями пропаганды».

Обида вождя мирового пролетариата наверняка многократно возросла бы, если бы он увидев, в какую нарезку превратились его вообще-то очень популярные, в особенности среди бланкютов, сочинения. В эту нарезку к тому же вмешался и *Карло Маркс*, тоже по своему популярный «автор» и одновременно персонаж книги Керуака «On the Road». Так *сводные братья Маркс*, встретившись в подвеске, вынуждены теперь отвечать друг за друга. «Проколов», подобных тому, что допустил автор «Капитала», более чем достаточно в авторской культуре: в этой точке поразительной слепоты и уязвимости подставляется даже Фрейд. Самое любопытное, что рассчитывать в таких случаях на сочувствие иди хотя бы на снисходительность своих собратьев не приходится, наоборот, каждый прокол встречается злорадством. Как утонченно издевается над тем же Фрейдом Жак Деррида. имея в виду ляпсус великого психоаналитика, который, «во-первых, не находит у себя никакого сходства с идеями Ницше, а во-вторых, вообще никакого Ницше не читал!» Ясно, что авторские войны находятся не просто в общем русле стяжательских войн, но еще и не знают аналогов запрещенного оружия.

К счастью, нестяжательская культура, во многом благодаря именно подвеске как господствующему способу ее дистрибуции, прекратила фратрицид. Примиряющую роль

сыграл ритуал коллективного жертвоприношения — всесожжение *имени автора*. Правда, очистительные обряды по смыслу персональной атрибуции весьма различаются в зависимости от жанра и вида искусства. Будучи наиболее строгими в отношении собственно литподвески и изобразительных искусств они в гораздо меньшей степени касаются музыки — возможно, потому, что музыкальные группы и без того пользуются никами. да и позиция автора в современной музыке не столь жестко фиксирована — фигура диджея изначально напоминала роль отправителя в музыкальной подвеске.

Как уже отмечалось, несмотря на лишение классиков их священного сана, культурный багаж нестяжателей вмещает в себя наследие почти всех веков — от поэзии мннезингеров и теологических выкладок Ансельма Кентерберийского до философии Лакана. Вирнльо и Пылькина. Разумеется, все это, как правило, в «нарезке» и в самом неожиданном соседстве. Зато эти *расхожие* почти в буквальном смысле слова знания не лежат на полках мертвым грузом, а висят на желтых ленточках до востребования. И востребуются ежедневно. Дезертиров с Острова Сокровищ, располагающих огромным запасом свободного времени, отличает, кроме того, чистая, не замутненная соображениями престижа и профессионализма любознательность. Как можно судить по путеводителю Лознгрину и другим подобным исследованиям, в джунглях существует даже «любительское естествознание». Лознгрин рассказывает, как искренне обрадовался Мур, когда в его руки попал подвешенный кем-то микроскоп: «Я давно хотел позаниматься *кристаллографией*, изучить строение ногтей. Вот теперь и займусь. Прямо сейчас». Мур не расставался с микроскопом «целых пять дней», а затем подвесил его, приложив результаты своих исследований... Логические задачи и *занимательная химия* пользуются в джунглях такой же популярностью, как и рок-музыка XX века, а макраме и другие подобные ремесла (техники изготовления фенечек) процветают. Следует, пожалуй, согласиться с выводом Евы Кукиш, что, если подвесная трасса станет господствующим способом распространения знаний вообще, дисциплинарные науки могут потерять даже импульс простого воспроизводства и тогда, к примеру, математика вернется в свою колыбель, в сферу «математической смекалки», так же как музыка композиторов уже в какой-то мере вернулась к стихии народных напевов и ритуальных гимнов. Правда, предугадывать будущее — дело неблагодарное, особенно сейчас, когда антропогенез набрал фантастическое в масштабах истории ускорение.

Если мы сегодня сравним две случайные выборки, вещьготовов и нестяжателей, на предмет погруженности в культуру и реальной образованности, сравнение будет далеко не в пользу вещьготовов. Любой непредвзятый наблюдатель без труда определит, где настоящее варварство. Ведь добропорядочным обывателям попросту некогда читать — они должны приносить пользу. А вдоволь натаскавшись пользы, то есть в «свободное время», они занимаются шопингом и строительством домика Тыквы. За исключением отдельных узкоспециализированных профессионалов, все остальные тыквы и прочие овощи потребляют «принудительную электронную подвеску», то есть то, что показывают в их «ящиках», где всем показывают одно и то же.

Что с того, если Мур, Птичник или кто-то из их друзей в большинстве случаев не могут указать источники своих знаний, впечатлений и озарений (как будто рядовые потрошители универсамов на это способны). Зато вольные странники воистину владеют тем, что знают, а не просто перетаскивают багаж знаний, как носильщики чужого имущества. Они не имеют привычки *отгонять* приходящие в голову мысли, предпочитая прудумывать их.

Вот бланкисту, не утомленному работой и не перегруженному заботой, попадаетея *странный текст*, «извлеченный» из какой-то книжки и висящий рядом с яблоком, карманным фонариком и фляжкой очень уместного в данный момент вина. Скорее всего, наш читатель не отложит его в сторону, а внимательно прочтет, и прочитанное станет его

сегодняшним материалом для размышлений. Такое ситуативное чтение (в некотором смысле чтение-поперек) органично сочетается с образом жизни в целом и представляет собой полноценный способ отклика на духовные предложения. Соответственно, уникальность нестяжательской культуры (хотя ввиду многообразия племен и общин правильнее говорить о культурах) включает в себя и моменты, связанные с подвеской как формой символических обменов. Во-первых, отсутствие «бульварного чтива», то есть общедоступной, навязываемой всем и каждому жвачки. В джунглях мегаполисов нет массовой культуры, этой духовной основы общества потребления. Тиражи «публикаций» не превышают в общем случае нескольких экземпляров (исключение составляют сакральные тексты племен, например «Полный Бланк» для бланкистов), зато практически каждая «публикация» находит своего читателя. Во-вторых, отсутствует и лицемерное почтение к «нетленным ценностям» — отчасти потому, что «подписчикам» собрания сочинений на ленточных носителях, в особенности последнему поколению, попросту неизвестно, кто классик, а кто нет (когда-то Мандельштам мечтал, чтобы *так* читали Данте — как последнюю новинку, только что вышедшую в свет). Вообще, встречи с искусством, происходящие в джунглях, больше привязаны к местности, чем к имени.

В то же время популярные ники остаются на слуху, их произведения пользуются любовью нестяжательского народа. Сегодня неплохо налажен и процесс обратного перевода, когда тексты, впервые появившиеся в подвеске, переводятся с ленточных носителей на электронные, издаются приличными тиражами и сами становятся своего рода классикой. Можно вспомнить недавний успех таких «авторов», как Николай Нидвораев, Нина Аляска и Чеширский Пес, — авторство приходится ставить в кавычки, поскольку носители этих НИКОВ не предъявили себя *широкой общественности*. Но, наверное, самый яркий пример — это основатель неокинизма *монгольский философ* Долгодумал Дубадал. Тексты, подписанные этим ником, впервые мелькнули в подвеске Е-бурга пару лет назад, сегодня же они изданы многотысячными тиражами, переведены на множество языков (возможно, даже и на монгольский), цитируются профессорами философии, при том что физически блистательного киника-нестяжателя вообще никто не видел...

Впрочем, благодаря устоявшейся практике очистительных обрядов и прежде всего всеسوужению имени автора, многие современные абоненты крупнейшего в мире агентства «Желтая лента» искренне полагают, что Сократ, Платон, Эшер и Магритт — это такие же ники, как Колесо или Нина Аляска (и в отношении Платона они совершенно правы). Довольно часто персонализация духовных посылок связывается не с первым отправителем, создавшим произведение когда-то и для кого-то, а с тем, кто реализовал свои культурные предпочтения здесь и сейчас, проявив определенный вкус и сумев на нем настоять. Именно таков случай с Кубинцем — в библиографических ссылках московских бланкистов он вводится соответствующей отсылкой: «А помнишь те стишата, которые в «Грдличке» снял Кубинец? Там как раз последней строчки не хватало. Здорово тогда оттянулись...» В некоторых ситуациях на свою долю «авторского гонорара» может претендовать и *инициатор уместного припоминания*.

Когда-то Гегель, размышляя о происхождении собственности, о ее, так сказать, первых зацепках в душе, заметил: «Подобно тому как у детей право владения достается тому, кто говорит: „Я это первый увидел" или „Это я нашел", так и современное право собственности сохраняет следы своего происхождения из непосредственного отношения наблюдающего сознания» («Иенская реальная философия»).

Последующее укоренение идеи собственности в природе человека, сначала посредством «естественного права господина», а затем через легитимацию трудовой теорией стоимости, оттеснило непосредственную реакцию владения далеко на задворки сознания. И лишь подвеска восстановила в правах принцип «кто первый увидел, того и

вещь». Этот базовый принцип зачастую дополняется столь же легкой формулой расставания: с глаз долой — из сердца вон. Персонализированные обмены-дарения тоже содержат в себе здоровую долю ребячества. Одна из таких форм, введенная в оборот питерскими бланкистами («махнёмся не глядя?»), во всем нестяжательском мире так теперь и называется -russian change.

Нет ничего удивительного в том, что общие правила обменов распространились и на духовные (символические) послания. Ситуативное авторство гораздо лучше согласуется с принципом трансцендентальной беспечности, чем пожизненная признательность, отравляющая чистоту бытия в мире как для благодарящего, так, особенно, и для благодаримого. Что же касается новаций, то любая контркультура предоставляет для них эксклюзивный материал, на котором кормятся целые стаи авторов-стяжателей, руководствующихся все тем же принципом «я первый увидел». Дезертиры с Острова Сокровищ относятся к таким «заимствованиям» с полным равнодушием. В одной из «Желтых орхидей», входящих в «Малую гирлянду», помещен небольшой очерк, написанный, видимо, на самой заре нестяжательского движения.

*Поводом для сопоставления послужила случайная встреча в метро — в сущности, пустячок. Я обратил внимание на парня, поднимавшегося на эскалаторе в обнимку с девушкой. Запястье его руки было перевязано (как мне показалось) бинтом, и сквозь перевязку явственно проступало пятно крови, указывая на совсем недавнюю попытку свести счеты с жизнью. Другой рукой парень обнимал девушку за плечо, и, когда он ее убрал, я заметил, что и на этой руке был точно такой же бинт. Хотел подстраховаться?*

*Между тем парочка разговаривала оживленно и весело, в их поведении не было ничего похожего на экзистенциальную тоску. Поднявшись на ступеньку вверх и присмотревшись, я обнаружил, что повязки представляли собой искусно изготовленные браслеты...*

*Достаточно трудно описать возникшее при этом ощущение, даже его эмоциональный знак, плюс или минус. Но мне показалось, что я имею дело с оригинальностью в чистом виде. Вполне возможно, конечно, что такие браслеты уже давно в ходу, просто я их увидел впервые — для эмоциональной реакции это никакой роли не играло. Кроме того, совершенно очевидно, что «повязки первой помощи» относились к китчу — если что-то вообще можно назвать китчем. Но принадлежность к китчу в то же время только подчеркивала характер оригинальности, в силу самой особенности этой сферы, не допускающей никаких полутонков. Поразившее меня зрелище явилось своеобразным подтверждением излюбленного тезиса Бориса Гройса о том, что подлинным источником новаций в искусстве может быть только профанное.*

*Возьмем какую-нибудь навороченную дизайн-студию, не испытывающую недостатка в заказах. Признанные дизайнеры, сотрудничающие в ней, способны предлагать самые изощренные разработки: например, ими может быть найдено исключительно удачное решение того, каким образом вписать овал в ромб. Допустим, руководствуясь критерием вкуса, коллеги-художники единодушно одобряют одно из таких решений. Но при всеуважении речь будет идти лишь о стилизации, о разного рода нюансах, уточнении которых и занимается среда профессионалов. Стилеобразующий прорыв в подобных занятиях не возникает. Сама идея нового стиля во всей ее радикальности (и простоте), скорее всего, будет подсмотрена и схвачена, выхвачена наметанным взглядом из потока профанного. Не исключено, что этот жест выхватывания, в свою очередь, представляет собой высшую степень профессионализма. Как тут не вспомнить столь любимое когда-то советскими*



критиками выражение Михаила Ивановича Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем».

В этом отношении мало что изменилось и сегодня. Так, хотя сфера китча и представляет собой результат непрерывной инфляции высокого искусства, но редкие обратные заимствования «окупают» все затраты и заставляют усомниться в истинности бесконечных претензий и жалоб представителей «подлинного творчества» по отношению к эпигонам массовой культуры. Неясно, смогло ли бы вообще существовать «настоящее искусство» без массовой культуры, но совершенно очевидно, что в этом случае оно, прежде всего, утратило бы свою оригинальность.

«Мало что изменилось и сегодня» — говорится в тексте. Что ж, сегодня изменения уже заметны: резко сузилась сфера персональной атрибуции, а первичное авторствование с его наивной претензией на полный цикл художественного производства перестало оказывать существенное влияние даже на трансляцию «высокой» культуры. Тенденция к вытеснению автора из производственной цепочки в ряды передовых потребителей наметилась еще в конце XX столетия в некоторых художественных авангардах, что пронизательно подметил упоминаемый в очерке Гройс:

«Художник сегодня — это не столько производитель, сколько образцовый, эксклюзивный потребитель анонимно произведенных вещей, циркулирующих в нашей культуре. Можно утверждать, что в современной художественной системе производятся уже не новые продукты, а исключительно новые способы, образцы потребления и желания. В современном искусстве изобретается потребление, которое затем еще раз потребляется обществом. Искусство стоит сегодня уже не в начале художественного производства, а в его конце. Это уже не изготовление вещи, а ее эксклюзивное употребление, хотя такое употребление, конечно же, может включать в себя художественную обработку и преобразование вещи. Подпись художника означает уже не то, что он произвел определенный предмет, а то, что он этот предмет использовал, причем каким-то особенно интересным образом» («Язык денег»).

Все отмеченные здесь тенденции действительно нашли воплощение в практике перпендикулярной культуры, хотя, как это обычно и бывает, в неузнаваемом для пророков виде. Акт «эксклюзивного художественного потребления» вполне может рассматриваться сейчас как вторичное авторствование, но нанесенное поверх очищенных продуктов культуры взамен штрих-кода первичного авторствования. По этой причине все симптомы воспаленной воли-к-произведению оказываются устраненными, а художественный эффект потребления практически не зависит от цвета подвески.

Желтая ленточка стала сопроводительным знаком духовных посылок — и осталась единственным устойчивым цветоразличителем практически на всех нестяжательских территориях. Предпринимались, и не раз, попытки добиться однозначного соответствия между означаемым и означающим, но они не увенчались успехом — во многом благодаря принципиальной позиции бланкистов.

Когда Колесо, друг и сподвижник Бланка, приехал в Берлин, он обнаружил, что беспечные бродяги этого города отнюдь не расстались с немецкой основательностью. Под руководством Дункеля, авторитетного сквоттера, его партайгеноссе развили бурную деятельность по упорядочиванию своего перпендикулярного бытия. Кое-что произвело должное впечатление на гостя: прекрасное состояние веревочных лестниц и других «средств индивидуального жизнеобеспечения», организованность и оперативность в проведении Flash-мобилизаций... Массовые акции по уничтожению лицензионных дисков и вывешиванию плакатиков с символом «копирайт» на туалетных кабинках произвели ожидаемое впечатление. Однако начавшееся в Берлине «упорядочивание подвески» решительно не понравилось петербургскому гостю.

Немцы, конечно, исходили из вполне рациональных на первый взгляд оснований. Предположим, человеку требуется что-нибудь из одежды — зачем же ему терять время на перемещения вдоль подвесной трассы, ему достаточно, например, увидеть синюю ленточку, и он почти у цели. Почти, потому что между штанами, курткой и ботинками тоже есть некоторая разница. И тут ему на помощь может прийти количество бантиков: один для обуви, два для рукавиц и так далее... Еда может сопровождаться зеленой лентой, выпивка и сигареты — красной, своим цветом можно обозначить и подвесной траффик легких наркотиков... Кроме того, вполне уместной представляется локализация однородных предложений в одном месте. В определенном районе будут подвешены преимущественно инструменты, в другом — как раз духовные послания...

Колесо, прогуливаясь вместе с Дункелем по берлинским джунглям, долго выслушивал пояснения и проекты практичного немца и все больше мрачнел. Наконец он спросил: «Скажи-ка мне, Дункель, а съестные припасы у вас на подвеске не снабжены ли сертификатами годности и указателями количества калорий?»

Дункель радостно подтвердил, что как раз над этим они сейчас думают, а пока подвешивающий просто указывает число. Тогда Колесо, видимо, будучи уже не в силах сдерживаться, и произнес свою получившую широкую известность речь («Hörst mich, Dunkel»), включенную впоследствии в «Полный Бланк». Вот она в обратном переводе на русский.

*Послушай меня, Дункель. Ты ведь здесь потому, что тебя достал этот унижающий человека мир со всеми его хитростями и полезностями. Ты предпочел свободу, зная, что она бывает не такой, как ее описывают те, кто видят ее издалека и мельком, а такой, какой она бывает, не похожей на дистиллированную водичку. Вез всяких страховок и подстраховок. Учти, никто не назначит тебе пенсию за свободную жизнь, а если назначат, значит, свобода была мнимой. Да, умереть на чердаке или в подвале — это страшно, и мы с тобой это знаем. Ты ведь представлял себе, каково это — смертный час без плачущих родственников вокруг, без завещания, без похоронной процессии, понимая, что ты никому не нужен...*

*Страшнее этого может быть только одно: умереть дома в собственной постели, в окружении плачущих родственников и всего честно заработанного — вещей, справок, наград, репутации, — все равно понимая, что ты никому не нужен. За исключением одной только смерти.*

*В этом наше преимущество, Дункель, — мы и ей не нужны.*

*Ты должен это знать. Зачем же, выйдя на свободу, ты вновь пытаешься разделить мир на клеточки тюремной решетки? Не надо дешевой рационализации, не обманывай себя и тех, кто рядом с тобой. Наша сила не в том, чтобы избегать хаоса с помощью инструментов порядка, а в том, чтобы выдержать максимальную инъекцию хаоса, оставаясь при этом людьми, обладающими разумом, волей и желаниями. Другой свободы и не бывает, ведь свобода не поддается дрессировке и одомашниванию.*

*Не отнимай у наступающего дня его непредсказуемости, Дункель. А насчет выгод рационализации я тебе скажу вот что. Твой знаменитый соотечественник доказал, что разделение труда есть самый надежный способ приумножить труд. Разделение труда, конечно, избавляет от отдельных затруднений, но взамен превращает всю жизнь в сплошное затруднение. Труд затрудняет нашу жизнь примерно так же, как выхлопные газы загазовывают воздух. А мы ведь боремся за чистоту — за очищение вещей от товарной формы, которая их загрязняет. И за очищение жизни от труда, который ее затрудняет.*

*Поэтому я уже сейчас хотел бы предостеречь тебя и твоих друзей: пусть подвеска останется такой, какой она была, — случайной и управляемой сиюминутным движением души. Тогда она не оскудеет. Не жалея лишнего часа, проведенного в прогулке или в поиске. Время странствий имеет отдельный зачет, то не создает стоимости, не приносит пользы. Оно приносит приключения, испытания и дары. Учти, насколько это от меня зависит, я буду противодействовать твоим планам. Я вижу в них угрозу нашему движению.*

Колесо потом и сам удивлялся «неожиданному приходу», но слова его возымели действие. Попыток упорядочить подвеску на манер нормального товарооборота больше не предпринималось, желтая ленточка так и осталась единственным дифференцированным знаком, указывающим на содержание посылки.

Но это не исключает индивидуального стиля, так сказать особенностей почерка. Многие бродячие нестяжатели сохраняют верность лентам излюбленного ими цвета, предпочитают определенные формы узла или «фирменную» длину свисающих концов. Обитатели джунглей знают свою среду обитания так же хорошо, как

Дерсу Узала знал уссурийскую тайгу, и, выйдя на охотничью тропу, они многое могут рассказать: кто здесь прошел, когда и даже в каком настроении. Лоэнгрин приводит любопытное свидетельство, как Мур, обойдя окрестности Сытного рынка (при этом временами буквально продираясь сквозь толпу), растерянно разводит руками и говорит: «Надо же, сегодня здесь *никого нет*».

В большинстве мегаполисов сохраняются различия уровней подвески. Различия в самом прямом смысле: высший уровень требует веревочных лестниц или по крайней мере проникновения на крышу. В силу этого на высшем уровне осуществляются в основном «близкородственные обмены» (свои для своих) — сочувствующим туда просто не добраться. Это же в какой-то степени относится и к самым трущобным районам, населенным преимущественно воинами и собирателями племен, хотя в криминальном смысле эти районы сегодня уже не представляют опасности. Важно подчеркнуть, что в целом процесс подвесного обмена остается открытым, то есть именно таким, каким он и был задуман.

Воины, радикальные бланкисты, а также вознесенные пользуются лентами еще и в других случаях — например, для передачи сообщений. Речь идет не о коммуникации внутри племени или общины — не для того ведь боролись с мобильниками и прочими средствами пустого бессодержательного общения. В этом отношении «дезертиры» единодушно полагают, что всё достойное быть высказанным можно сказать при личной встрече, а если личной встречи не требуется, то и без разговора, скорее всего, можно обойтись.

Другое дело публичные обращения — передача воззваний, призыв к flash-мобилизации, предупреждение об опасности... На обитаемых территориях есть, как правило, специальные места, где «брахманы» вывешивают свои обращения. Поскольку вознесенные соблюдают ритуальную чистоту (некоторые из них не умеют пользоваться компьютером, а другие делают вид, что не умеют), они составляют свои призывы с помощью особым образом связанных разноцветных лент. Эти призывы тут же считываются обладателями походных ноутбуков и просто сочувствующими и переводятся с ленточных носителей на электронные. Практика показывает, что в течение нескольких часов с момента вывешивания призыва можно организовать достаточно массовую акцию, причем параллельно проводимую в нескольких городах.

В целом коммуникативная функция подвески остается подсобной, но, например, в Иерусалиме, Е-бурге и Сиднее язык ленточных сообщений достиг уровня узелковой

письменности индейцев майя, и эволюция в этом направлении продолжается. Появились и исследования, посвященные этому вопросу, — можно указать на солидный труд Юджина Глоусберри «Тле General Grammar of Ribbon Languages».

Сегодня вознесенные, следящие за чистотой эталонов нестяжательского бытия, занимают все же периферийное положение. Но они обозначают некий предел, приближение к которому доступно многим. Скажем, принцип категорического отказа от оплачиваемого труда вообще соблюдают только вознесенные, но отказ от *систематически* трудовых усилий исповедуют все нестяжатели, демонстрируя тем самым, что жизнь отнюдь не теряет смысла, даже если ее не положить на алтарь польздоприношения. Опять же принципиальный отказ от какого-либо удостоверения личности связан с множеством неудобств, поэтому он строго соблюдается только «брахманами». Прочие вольные бродяги и члены племен пользуются «ситуативными» документами: они откликаются на *официально удостоверенное* имя до тех пор, пока им не надоест, а потом подбирают себе что-нибудь другое, благо в подвеске всегда можно найти какой-нибудь подходящий документ. Разумеется, не на все случаи жизни, но на какой-нибудь из случаев.

часть

# ВТОРАЯ

от какого

наследства

МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Сникерснутое поколение

Сам термин впервые был предложен автором, более всего известным под ником Альфер. Своим происхождением он обязан шоколадке «Сникерс», точнее говоря, нелепому, запредельному по своей тупости глаголу «сникерс -нуть», некогда активно использовавшемуся в рекламных клипах. «Не тормози, сникерс-ни!» — призывали создатели рекламного слогана, претендующего на роль девиза нового поколения. Каким-то непостижимым образом призыв подействовал, а миллионы тинейджеров нежданно-негаданно обрели свой боевой клич. Начало этого процесса исследуется в работе Альфера «От Просвещения к Транспарации». Некоторые отрывки из этого труда и сегодня могут представлять интерес, поскольку автор справедливо усматривает в логике развития общества потребления предпосылки нового витка антропогенеза. Обратимся к тексту.

*В своей работе «Символический обмен и смерть» Жан Бодрийяр отмечает прогрессирующее признание вины агентами власти и прочими эксплуататорами по мере того, как действительное положение дел становится «еще хуже» и прежние подозрения оказываются чуть ли не апологией: «Церкви всегда существовали для того, чтобы скрыть смерть Бога, природные заповедники и индейские резервации — для того, чтобы скрыть, что ни животных, ни индейцев больше нет... Всегда будут существовать заводы и фабрики для того, чтобы скрыть, что труд умер, что производство умерло или же что оно теперь повсюду и нигде... Стратегическая функция трудящегося смещается в сторону потребления как обязательной службы обществу». Теперь, когда основные усилия направлены на поддержание иллюзии нужности твоей работы, не грех признаться и в эксплуатации труда, тщательно скрываемой ранее. Вывод о том, что «меня эксплуатируют», окажется, пожалуй, более приемлемым, чем страшное подозрение, что я никому и даром не нужен.*

*Эта тщательно скрываемая коллизия со всей отчетливостью проявляется в сфере рекламы. Потенциальному потребителю чуть ли не открытым текстом дают понять: ах как мы хотим твои денежки! «А вот не дождетесь», — злорадно произносит про себя субъект, ознакомившись с рекламным сообщением. Но рекламодатель не очень-то и переживает, ведь его тайным желанием было*

стремление зарегистрироваться в качестве существующего, еще раз подтвердить свое присутствие пред лицом бога Йюксты. Контрхитрость рекламодателя направлена исключительно против хитрости разума; хуматону, напротив, такое положение дел кажется весьма здравым, по его мнению, к этому и должно стремиться просвещенное общество. Да, рабочие места создаются для того, чтобы обеспечивать занятость (симулировать нужность), — что ж тут особенного? Почему бы специально не позаботиться о нужности каждого, если эта нужда в другом не дана с самого начала? Ответом на такую заботу должна быть элементарная благодарность (она же новая редакция профпригодности) — трудовая дисциплина, здоровый образ жизни, общительность, открытость, неподдельный интерес к новостям от «Тиккурилы», раз уж ты в «Тиккуриле» работаешь... Генерировать фантастические идеи, подчеркивая свою особость и незаменимость (и уж разумеется, культивируя собственные капризы), — вчерашний день, правильные, нормальные люди в таких извращениях вовсе не нуждаются. А если так же правильно будут устроены и потребители, они не смогут устоять перед новой яркой крышечкой, перед шоколадкой, которая тает во рту, а не в руках, перед краской, которая сохнет на стене, а не на кисточке, — и какие тогда могут быть проблемы со сбытом? Если только и как только стратегия гиперподозрительности утратит свое абсолютно господствующее положение среди совокупных стратегий потребления, перестанет окупаться и изощренность обмана.

Это только кажется, что доверчивость всегда проигрышна, а наивность непоправима, — стоит отказавшимся от идеологии двойного дна достичь некой критической массы, доверчивость станет безусловно выгодной, даже если конструкторы симулякров вовсе не имели намерения специально вознаграждать за доверчивость.

Инструмент прогресса, если представить его в виде бура, углубляющегося в тайны природы, снабжен алмазным острием фальсификации, при том что и привод подпитывается энергией фальсификации. Авангардисты прогресса — это полномочные представители инстанции подозрения, те, кому удастся перехитрить, обвести вокруг пальца природу (Эдисон, Резерфорд, Оппенгеймер). Компактная группа авангардистов специализируется на таком же проникновении в природу Л-со-знания; здесь есть свои гении-авантюристы: Ран Хаббард, преподобный Мун, братья Мавроди... В сущности, человечество должно быть благодарно им по многим причинам. Ведь они прежде всего «санитары леса», не дающие социуму погрязнуть в пучину ленивого разума и алчного, но столь же ленивого воображения. И обманщики природы, и взломщики несчастного, но очень подозрительного сознания руководствуются одной и той же установкой, позволяющей и извлекать пользу из электромагнитных колебаний, и получать выгоду от встроенной подозрительности субъекта, готового тем не менее на все, как справедливо заметил Маркс, если речь идет о получении сверхприбыли. Подозрительность сыщика в соединении с жадностью фраера есть идеальная питательная среда для Мавроди всех времен. Без систематического тренинга, проводимого этими сверхобманщиками, хитрость разума, говоря словами Гегеля, не могла бы столь эффективно воздействовать «на тупой конец мощи».

Все авангарды высланы в пробное будущее, чтобы подготовить плацдармы для его последующей колонизации. Но в отличие от экзистенциальных и художественных авангардов спецназ Л-сознания всегда определяет направление последующего главного удара, и для него задержка на отвоеванном плацдарме означает неизбежное уничтожение «основными силами», движущимися в том же направлении. Уж сколько раз твердили миру, что дураков надо учить, что доверчивость наказуема...

«Полноценного» субъекта вообще вряд ли можно убедить, что доверчивость в форме «для себя» хоть чем-то отличается от глупости (в форме «для другого» она, напротив, предстает хорошо обоснованной стратегией).

Но в действительности не все так безнадежно: деятельность, направленная на разоружение Л-сознания, имеет свои проверенные стратегии, которые иногда ставят в тупик самых продвинутых фальсификаторов. В отношении некоторых ценностей экзистенциального плана это почти очевидно. Человек, лишенный подозрительности, провоцирует встречное доверие, одаривается дружбой и вообще поворачивает к себе мир светлой стороной. Князь Мышкин тут может рассматриваться как предшественник Фореста Гампа, хотя «дефект», допущенный при сборке субъекта, очевиден, что и побудило Достоевского назвать роман «Идиот».

Представим себе, что семейство Мавроди разрослось необыкновенно, что неизбежно происходит, когда сфера всеобщей аферистики оказывается предоставленной самой себе. Такого рода попустительство есть либеральная санкция рыночной экономики, по существу режим максимального благоприятствования свержобманщикам, поскольку большая степень свободы для них приводит уже к разрушению социума. Разумеется, каждый из агентов экономической деятельности пытается разыграть, «развести» покупателя по полной программе — наперсточники всегда снимают первые пенки. Однако свобода, предоставленная предприимчивости, исключает монополию. Тактика снятия пенек разовым усилием оказывается далеко не самой эффективной. Цветные крышечки и этикетки с призами применяют не только производители «пепси», и в условиях конкуренции появляется определенный смысл вознаграждать самых доверчивых. Знаменитый всероссийский debil Леня Голубков с рекламных роликов Мавроди обретает свой шанс, если будет вести себя пред лицом бога Йюксты, как Авраам пред лицом Иеговы: вполне возможно, что Йюкста сдержит свое обещание и размножит голубковых, как песок морской, и выведет их в землю обетованную, в потребительский рай.

Шансы голубковых возрастают, когда установка на запоминаемость брендов начинает конкурировать с установкой на рост объема продаж. Тогда коллекционеры вкладышей и крышечек оказываются в роли создателей нерукотворного памятника для всех, отождествляющих себя с брендом. Персонал хозяйственного субъекта не прочь и приплатить преданным регистраторам своего существования (как авторы склонны дарить книжки верным читателям); радиослушатель, оказавшийся в курсе «новостей от „Тиккурилы“», вправе получить призовое ведро краски и «наше вам с кисточкой». Тем более что хуматоны воистину благодарны и непривередливы, они довольны и теми приманками, которые разворачивают перед ними в своих корыстных целях подозрительные субъекты. Но что особенно важно, скромная удача верноподданного ИСК, какой-нибудь скейтборд, может значить для его референтной группы больше, чем порция сверхприбыли, полученная Мавроди для его «коллег». Тем самым обнаруживается существенное преимущество хуматонов — легкая конвертируемость материального выигрыша, даже самого незначительного, в непосредственное удовольствие. Радость хуматона неподдельна, ибо, во-первых, санкционирует правильный выбор смысла жизни (в мире субъектов подобная радость всегда смешана с подозрениями и с предчувствиями: скажем, не пора ли приносить искупительную жертву?), а во-вторых, подтверждает собственную удачливость. Надо ли удивляться, что подозрения носителей Л-сознания сгущаются и вопреки всем их жизненным установкам появляется зависть к «лохам», которые, перейдя через мыслимый (или даже немыслимый) край наивности, вновь стали непостижимы для подозрительного сознания.

Несколько терминов, используемых автором, нуждаются в пояснении. Под «Л-сознанием» подразумевается человеческий тип разумности в противоположность, например, разуму Бога или искусственному интеллекту. Буква «Л» означает, конечно, ложь, но это ложь, понимаемая предельно широко — и как готовность при случае солгать, и как глубинное подозрение насчет встречной готовности мира обмануть меня в случае малейшей потери бдительности. Автор рассматривает *подозрительного субъекта* как высшую и последнюю стадию современной цивилизации, подготавливающей место для нового человеческого проекта *хуматона*, то есть существа, идеально соответствующего ценностям постиндустриальной эпохи. Прообразом хуматона является Форест Гамп, персонаж популярного в свое время одноименного фильма Роберта Зимекиса, обаятельный дурачок, принимающий все за чистую монету. Альфер пытается доказать, что время для массового производства таких дурачков уже наступило.

Наконец, *Йюкста*, самозародившийся бог рекламы, по сути дела специфическое воплощение Маммоны или Мельницы-Гидры, которому угождают, собирая крышечки, обретая шесть признаков здоровых волос и не давая себе засохнуть.

Далее Альфер пишет:

*Всмотримся подробнее в эту удивительную картину. Вот подозрительный субъект смотрит на героя рекламного ролика, который безмятежно счастлив по совершенно простой и прозрачной причине: он вовремя сникерснул и к тому же не дал себе засохнуть... Смотрит и думает: «Вот же идиотина... И эти клипмейкеры, неужели они рассчитывают кого-то завлечь, демонстрируя трехкопеечную радость дебила? Сами, видимо, тоже радуются: кинули заказчика, сняли бабки... Что ж, молодцы ребята!» Примерно такая гамма чувств охватывает типичного носителя Л-сознания. Однако через короткое время детина вновь появляется на экране: теперь он собрал нужное количество крышечек и стал обладателем путевки на чемпионат мира по бэби-ситтингу. Еще через пару минут он же, только теперь в женском облике, получил в подарок блестящую застёжку к ремешку от компании «Факен Чикен», и радость его (то есть ее) вновь неподдельна. Именно это против воли впечатляет и завораживает: самоотдача юного «хуматона унисекс», который, в отличие от *homo sapiens*, одинаково решителен и безмятежен, идет ли речь о победе в конкурсе SMS, посвященном новым разработкам «Fucken Chicken», о триумфе в вокальных упражнениях «Фабрики звезд» или о новой застёжке. Этим он напоминает истинного мастера недеяния, ведь и тот равнодушен к тому, что поставлено на кон — черепица, серебряная застёжка или вся Поднебесная.*

*Словом, дебил дебил, но ведь нисколько не комплексует. И очень похоже, что ему действительно хорошо. И это при всем при том, что подозрительный субъект не может не видеть, какая простенькая модель предложена для идентификации — с его точки зрения на такую наживку может клюнуть лишь «недосубъект», здесь не требуется даже включения алчности, губящей фраера, алчности, которая так или иначе учитывается в других роликах, лучше адаптированных к устройству Л-сознания.*

*Да, реальные подростки, адепты скейтинга, боулинга, пирсинга и фаст-факинга, и вообще все те, кого можно назвать обобщающим термином «сникерснутые» (все сникерснутое поколение в целом), отнюдь не таковы. Они, реальные, агрессивны, нечистоплотны и вообще предельно закомплексованы. Но. Среди них действительно попадаются, и чем дальше, тем чаще, узнаваемые по клипам и постерам персонажи на скейтах, которые, и это сразу видно, действительно любят кататься и ненавидят потеть, чарующе самодостаточные в проявлениях своего бытия.*



Пусть эмпирическое большинство тинейджеров обоего пола «отвратительны», поскольку представляют собой сплошной рессентимент, причем как раз в его наиболее неприглядном, подростковом виде. Следует, однако, признать, что отвратительны они именно нашей отвратительностью, каждый из них со всеми подозрениями и комплексами есть гадкий утенок будущего «субъекта-лебедя», и лишь пройдя эту личиночную стадию, они смогут пополнить наши ряды. Принадлежность к сникерснутому поколению, следовательно, состоит совсем не в этом, не в негативизме, древнем как мир или, точнее говоря, как сам субъект. Решающее отличие и суть дела в том, что они ориентированы не на скорейшие успехи в деле субъектности (как генералы песчаных карьеров, будущие мачо Латинской Америки и замоскворецкая шпана). Эта крутизна теперь всего лишь запасной вариант. Настоящую же модель успеха современных тинейджеров, их сладчайшее, воплощают как раз те словно выпрыгнувшие прямо из монитора беспечные на-слажденцы. Это перед ними млеют все еще не затвердевшие в своей субъектности, как в окончательном приговоре, подростки, они хотят быть счастливы их счастьем, и именно в этом состоит их сникерснутость. Зачастую лишь ограниченность «основного ресурса» не позволяет сделать решающий шаг навстречу персонажам прекрасных картинок. Идеальная модель автопоззиса представлена праведниками бога Йюксты, необратимо, непоправимо сникерснутым авангардом будущих полноправных обитателей потребительского рая — хуматонов.

Очевидно, что Россия в этом отношении все еще отстает на целую эпоху, здесь пока по-прежнему самой притягательной имитационной моделью всееще остается братва, те же генералы песчаных карьеров. Но следует заметить, что еще тридцать лет назад ведущие социологи США и Европы полагали, что стадия подросткового негативизма в принципе необратима, ее отсутствие или даже невыраженность ставит под вопрос саму процедуру социализации. В традиционных культурах обуздание диких побегов пробного бытия происходило с помощью инициации; сословные инициации и в дальнейшем оставались важнейшей операцией по преобразованию социального сырья или, лучше сказать, полуфабрикатов-заготовок в полноценных дееспособных индивидов.

Просвещение же, искоренив предрассудки, оставило свято место пустым. Предложить действенную альтернативу инициациям удалось только сейчас Йюкста и его жрецы ввели пропуски нового типа, предполагавшие нечто невиданное прежде — социализацию без инициации. Об успехе новой модели говорить еще рано, но появление сникерснутых весьма примечательно. Рай бога Йюксты расположен не так высоко в небе и не так далеко от земли, как рай Иисуса, а для его обретения не требуется аскезы по отношению к земным благам. Но своеобразная праведность, последовательность по отношению к предлагаемым тебе наслаждениям все-таки нужна. В эту праведность и преобразуется подростковая агрессия, в результате чего генералы песчаных карьеров (прежние образцы для подражания) теперь разжалованы в рядовые — куда им до всадников скейтбордов, успевающих сникерснуть в промежутках между головокружительными трюками. Что же касается крутизны, то кто же тут сравнится с Бэтменом и персонажами компьютерных стрелялок?

В исследовании Альфера хорошо очерчены контуры постиндустриального общества, социальные реалии, на фоне которых и возникли первые ростки массового нестяжательского движения. Мы видим теоретические обличения тех «феноменов», которым Бланк бросил практический вызов. Но продолжим:

Фигура женственности на наших глазах претерпевает не меньшие изменения. Сексуальность, всегда бывшая привилегированным полем двойного зрения, тренажером глубинной подозрительности и производного от нее вуайеризма, стремительно теряет свои глубокоководные составляющие. На поверхности вещей это выглядит как торжество морали, но возникает законный вопрос что же мешало этому торжеству все предшествующие тысячелетия? Ведь моральные инстанции, подкрепленные репрессивными мерами добровольной полиции нравственности, неустанно провозглашали принципы женской и девической добродетели в качестве нормы жизни, однако гетерогенный практический разум (Л-сознание субъекта) прекрасно понимал про себя, что «лучшее украшение девушки — это скромность и прозрачное платье» (Евгений Шварц), и неукоснительно руководствовался этим принципом в своем эротическом выборе. И если теперь стратегии соблазна одна за другой выбывают из репертуара «межгендерного поведения», как прихотливо выражается Сильвия Грейн, если сам способ бытия женщиной утрачивает двойное дно, а вместе с ним и бездонность, то причина тут, конечно, не в победе морального сознания над субъектом, а в подмененности самого субъекта образцовым агентом-деятелем, уже трагически сникерснутым.

Идентификация современной женщины, а главное, ее самоидентификация осуществляется путем простого суммирования прежних «обольщающих практик» (разного рода женских штучек и хитростей), но без воспроизводства двусмысленности, без какой-либо попытки «вертеть хвостом», составляющей, по пронизательному наблюдению Пелевина, самую суть гипнотизирующей обольстительности. В ассортименте принятого сейчас за эталон поведения есть даже стриптиз, но напрочь лишенный ощущаемой прежде постыдности и «пораженности в правах». Теперь это даже не целесообразность без цели, а ее имитация, изначальный смысл которой скоро утратится, как утратился изначальный смысл рукопожатия. В памяти невольно возникает образ сталинской физкультурницы, украшавший в виде статуи все советские парки культуры и отдыха: статуя словно бы ожила, обнаружив при этом свой прямой и несгибаемый характер. Транспарация (так Альфер называет новую стадию гуманизма, сменившую Просвещение. — А. С.) пронизывает ровным светом и скромность, и прозрачное платье, засвечивая контраст, устраняя игру светотени и разность потенциалов, создающую эротический заряд. Скажем, когда госсекретарь США Кондолиза Райе крутит педали велотренажера в подходящем для такого случая одеянии и при этом дает интервью о политике США на Балканах, принцип Шварца не срабатывает, поскольку происходящее воспринимается как нормативное шоу. Ведь и стриптизерша могла бы рассказывать о борьбе за права женщин, стоя у своего рабочего шеста и время от времени поднимая ногу, — по законам сегодняшней морали это никак не повлияло бы на содержательность ее аргументов. Конечно, подозрительный субъект, видя вершительницу политики США полуголой и произносящей вполне официальную речь, испытает некую «амбивалентность». В игровом кино такая амбивалентность была бы, вероятно, даже возбуждающей, но поскольку все документально, субъект, именно в силу своей подозрительности, может заподозрить, что «так и надо», «так нынче принято». Что касается ху мат о на, он в этом даже не усомнится. Ему вполне достаточно обобщающей формулы типа «все леди делают это... чтобы не дать себе засохнуть».

Ибо требования бога Йюксты хоть и суровы, но совсем не той суровостью, которой отличаются эталоны инициации и максимы воли чистого практического разума. Главное же, они последовательны и достоверны на каждом шаге промежуточного контроля, а успешно прошедший несколько шагов и вовсе обретает

*приличную скорость для дальнейшего усвоения праведного пути: скажи наркотикам «нет!», не носи натурального меха, не дай себе засохнуть и вовремя сникерсни. Видеоряд, плавно переходящий в живые картины, подтверждает: счастье возможно. Оно, конечно, не свалится с неба, надо все-таки приложить усилия: собрать определенное количество упаковок, отклеить и отослать кое-какие наклейки, да еще и придумать рассказ «Как я провел лето с бутылкой пепси». И тем не менее оно, счастье, возможно! И путь, на котором его можно обрести, указан. Достоинства нового Грааля, неведомые прежним утопиям, налицо: во-первых, все копии абсолютно равноправны и равноценны оригиналу, а во-вторых, эталоны не трансцендентны, а транспарантны, им не свойственно ускользать за горизонт по мере приближения к ним.*

*Изъеденное рефлексией сознание подозрительного субъекта во всем склонно усматривать подвох, вот и радость Джона, купившего в «Икее» пару модулей и получившего за это в подарок, скажем, надувные штаны, кажется такому субъекту не вполне искренней. И стихотворный успех усердного сочинителя, победившего на конкурсе рекламных слоганов и выигрывавшего поездку в апельсиновый рай, не впечатлит скептика. Наверняка сочинение из серии «В огороде бузина — а качество в „Пятерочке“!» покажется ему маловысокохудожественным, но ведь это потому, что, страдая от зависти и прочих осложнений, субъект-скептик не в состоянии порадоваться таланту и удаче другого.*

Итак, при всей вполне объяснимой иронии и язвительности автора, при всех, впрочем, не слишком значительных преувеличениях, мы видим узнаваемую зарисовку потребительского рая, каким его застали первые дезертиры с Острова Сокровищ. И антропогенная развилка «вещеглоты — сникерснутые — хуматоны» оказалась бы, возможно, единственным в своей печальной принудительности вектором эволюции, если бы не альтернативная линия антропогенеза, реализованная нестяжательскими племенами.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Шопинг

Рекламные уловки постиндустриального общества, какими изощренными они бы ни были, сами по себе не в состоянии породить такое стойкое порабощение человеческой сущности потребительством. Есть гораздо более мощная гравитация, легко отделяемая от удовлетворения насущных потребностей и создающая собственную зону притяжения, так сказать автономную планетную систему.

Планеты, сферы устойчивого сущего, созданы упорным трудом (так Брахма создает Землю длительным и соразмерным усилием пахтания первичного бульона), но вращаются они по потребительским орбитам — на эти орбиты нацелены и помыслы большинства обитателей планет. Воспаряя на орбиты потребления, пользопринесители осуществляют свои полеты во сне и наяву. Есть у них и прогрессия успеха, есть возможность вырваться на более высокую потребительскую орбиту. Но возможность покинуть зону действия гравитации потребительства, как правило, даже не рассматривается. Подобно тому как полет воздушных гимнастов в цирке ограничивает страховочная лонжа, прочные, но эластичные нити потребительства сдерживают и корректируют полет воображения счастливых мира сего.

Связанность всех устремлений страстью приобретательства и именуется, собственно говоря, стяжанием. Эта страсть захватывала и отдельных индивидов, и классы (как господствующие, так и угнетенные), и целые цивилизации. Однако свою совершенную форму стяжание обрело лишь в XX столетии, и обрело ее в практике *шопинга*.

Остается только удивляться, что это явление так и не получило должной оценки, дело ограничилось простой констатацией: шопинг есть некий способ времяпрепровождения, органичный для общества потребления... Это тем более странно, что благодаря Кьеркегору и Фрейдю европейская метафизика открыла для себя важность *повторения*, ставшего едва ли не главной философской темой на рубеже тысячелетий. Шопинг как самая яркая иллюстрация действенности данного метафизического принципа остался тем не менее в стороне от серьезного анализа. Никому не пришло в голову причислить «обыкновенный шопинг» к экзистенциалам вроде хайдеггеровского бытия-к-смерти или рассмотреть его в том же теоретическом контексте, что и, например, «эксплуатацию». Возможно, шопинг так и оставался бы чем-то сравнительно невинным, если бы нестяжательское движение сразу же не натолкнулось на него как на преграду, установленную со всех сторон сразу. Наткнулось примерно так же, как фрейдовский *Lustprinzip* наталкивается на принцип реальности. Вот что в этой связи говорил Бланк на встрече с харьковскими бланкистами-сочувствующими.

БЛАНК. ...А знаете ли вы, друзья мои, что самое яркое и емкое описание непримиримого конфликта между нестяжателями и жлобами принадлежит Пушкину?

СТАС ВИЦЕНКО. Изумруды?

БЛАНК. Александру Сергеевичу.

ГОЛОС. Это про скупого рыцаря, что ли?

БЛАНК. Нет, в «Скупом рыцаре» описывается тяжелая форма одержимости стяжательством, своего рода патология. Патологию легко обличать, **я же** имею в виду другое:

Пошел поп по базару  
Посмотреть кой-какого товару.  
Навстречу ему Балда  
Идет, сам не зная куда...

СТАС. Ну, это как раз про меня.

БЛАНК. Попробуем вдуматься в пушкинские строки. В сущности, обоим героям, что попу, что Балде, нечего делать. При этом поп поступает просто по инерции, он идет «посмотреть кой-какого товару» — так поступают все «нормальные» люди, не говоря уже о людях успевающих и преуспевающих. Другое дело Балда — он не связывает себя видимостью цели, понятной всем, а вместо этого «идет сам не зная куда». За «маленьким» различием скрывается несовместимость двух миров и, соответственно, непримиримость позиций — об этом и сказка. Ведь нельзя сказать, что поп поддался какому-то искушению, которому он пытался противостоять, — ничего подобного, он просто пошел по базару *от нечего делать*, без какого-либо особого повода. Можно сказать, ноги сами понесли его туда. То есть ситуация проще пареной репы (или вареной полбы): если тот или иной *толоконный лоб* решает отправиться куда глаза глядят, он идет «посмотреть кой-какого товару» — потому, что туда и глядят его глаза, туда и возносятся его толоконные грезы.

Таким образом мы и получаем определение шо-пинга. Как вы понимаете, сегодня ситуация только усугубилась: как целенаправленные движения, так и бесцельные шатания влекут хронического потребителя в одно и то же место, затягивают в воронку, охватывающую весь земной шар. Эти челночные движения и называются шопингом.

По преданию, персидский царь Ксеркс (а может, и другой царь) потребовал однажды от своих мудрецов написать для него историю человечества. Мудрецы взялись за работу и через какое-то, немалое очевидно, время доставили заказчику телегу, груженную манускриптами. Царь возмутился: у меня нет времени, чтобы читать все это — и потребовал представить ему только самое главное. Выжимка главного заняла еще больше времени, и в результате Ксеркс получил конспект всеобщей истории в одном томе. Вероятно, и этот том показался царю слишком внушительным — в гневе он приказал оставить лишь *самое важное*. Повеление исполнил мудрейший из мудрецов, представив Ксерксу конспект человеческой истории, уместившийся в одну строчку, которая гласила: *они рождались, жили и умирали*.

Сегодня мудрейшему пришлось бы внести поправку даже в этот кратчайший конспект. *Они рождались, занимались шопингом и умирали* — вот как сегодня выглядит самая общая схема происходящего на земле людей.

Все, что Хайдеггер в «Бытии и времени» описывал под именем «глазения», «праздношатания», «стояния без дела», — все это сейчас монополизировано шопингом. Сюда следует прибавить еще и достижение заветных целей. Ведь шопинг не ограничивается только временем шатания по магазинам, хотя и это время, измеренное в человекочасах, уже сливается в целую калиюгу. Сточные воды времени вбирают в себя и то, что сброшено в канализацию пользоприношения, совершаемого во имя грядущего шопинга. А также и время для обдумывания гамлетовского вопроса в его современной версии: что, где, когда и почему купить? Какие дерзновенные мечты витают в толоконных лбах: тут тебе и люстра с висюльками, и соковыжималка, и яхта... А ноги сами заворачивают на базар.

Вот что представляет собой на деле это невинное занятие — шопинг. И мы, собравшиеся здесь, принадлежим к тем немногим, у кого имеется врожденный или благоприобретенный иммунитет к шопингу.

ГОЛОС. То есть как здоровые среди больных. БЛАНК. Да. Или как уцелевшие во время эпидемии, бушующей уже на протяжении столетий.

СТАС ВИЦЕНКО. А есть ли способ исцелить этих больных?

БЛАНК. Они в большинстве своем хронички. По-моему, Пушкин в своей сказке как раз и указал самый реалистичный способ избавления от горячки шопинга и ступора польздоприношения. Где-то осознанно, а где и неосознанно мы следуем путем Балды. Уже одним тем, что мы просыпаемся без всякого желания посмотреть кой-какого товару и спокойно идем себе сами не зная куда, мы даем первый щелчок по лбу. А тем, что, не принося никакой пользы, мы живем по-настоящему осмысленной жизнью.. . Нет, даже не так: мы-то, собственно, и *живем жизнью*, а они жизнью только маются. Вот вам и второй щелчок...

ФОМА БРЮТ. То есть, Бланк, можно сказать, что мы действуем от балды...

БЛАНК (*смеется*). Конечно! А как иначе мы поставим весь этот мир на попа? Вы только вздумайте: два щелчка в лоб коллективного жлобства! Уже немало, скажу я вам. Но толоконный лоб еще крепок. Улавливаете, к чему я клоню?

ГОЛОСА. Бланк, давай резолюцию! БЛАНК. Сами давайте резолюцию. ФОМА БРЮТ (*перекрикивая шум*). Чтоб от третьего щелчка вышибло ум у старика!!! (*Слышен одобрительный шум и выкрики: «По заветам Александра Сергеевича!», «Пушкин — наше всё» и т. п. Как водится, по окончании встречи участники обменялись фенечками.*)

Способность шопинга заполнять время повседневности и имитировать смыслы, включая смысл жизни, достойна удивления. Осуществление покупок далеко не единственное содержание этого процесса, включающего в себя целый пучок стратегий. Сама процедура осмотра, выбора и приобретения товара может войти в библейское определение *обыкновенного женского*, несколько расширив и дополнив это понятие, но не изменив его сути. Не то чтобы в воронку шопинга не попадались мужчины — еще как попадают, но виртуозом в этом деле все же является женщина, и ее опыт поневоле оказывается эталонным. Именно для обыкновенного женского в его расширенном понимании мир посредством шопинга предстает как коллективный соблазнитель (с точки зрения Фрейда и Юнга оба начала, и мужское и женское, присутствуют в каждой психике и окончательная тендерная принадлежность определяется лишь степенью актуализации того или иного полюса). Соблазняемые шопингом особи мужского пола тоже тем самым выказывают наличие женской ипостаси или, попросту говоря, демонстрируют «свое бабье».

Чтобы возбудить обыкновенное женское в каждом покупателе (клиенте), используются отработанные веками ухищрения, сравнимые с лучшими элементами флирта в исполнении истинных мастеров этого дела, советских шестидесятников (благодаря этому своему искусству и вошедших в историю). Главную роль играют даже не рекламные навороты — они всего лишь манящие, обещающие взгляды, бросаемые с экранов, постеров и страниц глянцевого журналов. Они тоже важны — но еще важнее *касания*. То, что затрагивает специфически чувствительные места: игра ценников, слегка меняющихся от магазина к магазину, сопоставления воображаемого с наличным — и заполнение лакун воображения внезапным попаданием в *свой товар*. Опять же

продавцы — живые манекены разной степени одушевленности... Сами товары, умеющие не только быть на виду, но и не сразу бросаться в глаза, способные обнаруживаться покупательницей, как грибы в лесу... Все это и многое другое вовлечено в игру, лучше даже сказать в Игру — по степени важности она может претендовать на то, чтобы писаться с большой буквы.

В играх шопинга нет дискриминации по возрасту, цвету кожи или фактору внешней привлекательности — всякий обладающий средствами есть желанный предмет обольщения. Реестр касаний многообразен: они могут быть нежными — в каком-нибудь бутике, могут быть *терпкими* — в манере уличных торговцев, но и на такие есть спрос: не так уж и мало любителей, например, поторговаться на рынке. В пределе касания могут переходить и в «тычки» — тут можно вспомнить удивительный феномен советской торговли, когда продавцы не просто испытывали отвращение к покупателям, но и всячески его подчеркивали. Однако и это не останавливало Игру: модификация правил, привнесение элементов садо-мазо требовало лишь применения назубок усвоенного принципа: вовремя расслабиться и получить удовольствие. Впрочем, до прихода Бланка ни один коммунистический эксперимент не смог хотя бы поколебать устои вселенной вещеглогов.

Сравнения шопинга с эросом, конечно же, не случайны: с позиций принципа наслаждения эти две сферы соседствуют друг с другом и располагают, так сказать, территориями двойной юрисдикции. И хотя чувственная интенсивность шопинга уступает эротическим всплескам, зато общая площадь убажываемой шопингом поверхности чувственного да и стойкость очага возбуждения в подавляющем большинстве *рядовых случаев* превышают возможности эроса.

Самые разнородные человеческие практики и устремления втягиваются в воронку шопинга. В их числе и страсть коллекционера, о которой немало писали Ролан Барт, Бодрийяр и Ну-ну Гонсалвеш. Органично вписана в шопинг и стратегия выборочного присвоения, порождающая иллюзию выстраивания своей индивидуальности. Согласно Гегелю, хитрость разума развивается из принуждения к труду, ее инициирует господин, но реализует раб, проявляя изощренность в обработке вещей. Будучи «поставленным» господином, раб, в свою очередь, стремится поставить вместо себя технику. Замещение такого рода требует изобретательности, и история этой изобретательности образует основные вехи технического прогресса. Даже если согласиться с данной схемой, придется признать, что практически одновременно поднимается и вторая волна хитрости разума, связанная уже с играми потребления, которые и достигают формального совершенства в практике шопинга. Шопинг предстает как партнер и конкурент технического прогресса. Происходит интерференция двух волн хитрости разума, усиливающая импульс стяжательства и, наоборот, подавляющая другие импульсы духа. В практике шопинга обыгрывается целая россыпь маленьких хитростей (они же ловушки): как изловчиться, чтобы купить подешевле, успеть на распродажу, а главное, чтобы быть в курсе «что-где-почем»? Быть в курсе *этого* гораздо важнее, чем держать руку на пульсе политических событий, — некоторые, впрочем, для того и держат там руку, чтобы быть в курсе основного вопроса практической жизни.

Множество силовых линий, вдоль которых ориентировано человеческое поведение, сходятся в каждом единичном акте шопинга и уж тем более в повседневной принудительности этого явления. Ежедневный опыт решения основного вопроса — это великая сила и в то же время страшная сила. Несмотря на извлекаемое удовольствие (от применения тех же маленьких хитростей), расходящиеся круги потребительства достигают самых сокровенных уголков души и оставляют после себя руины. В отличие от роковых ошибок трагического героя или страданий юного Вертера, потребительские

заморочки непросветляемы в принципе, а замороженная ими душа — неспасаема. Душевная рана, «освежаемая» каждым актом пользаприношения, вроде бы зарубцовывается терапией шопинга, но при этом происходит замещение высоких порывов духа челночными монотонными движениями управляемого воображения. Именно так выглядит и так происходит прижизненное угасание, коллапс души.

Стоит привести любопытный рассказ Стаса Николаева (ник Хоба), вождя чижиков, небольшого нестяжательского племени Петербурга, близкого к бланкистам.

*Моя Лариса, в сущности, замечательная женщина — чуткая, преданная и, я бы сказал, чувственная. Она была хорошей женой. Но вот одно обстоятельство вызывало у меня изумление с самого начала: едва ли не каждый раз после наших занятий любовью, когда волны блаженства еще не окончательно улеглись, Лариса вдруг говорила мечтательным тоном: «Стасик, тебе не кажется, что наш вытяжной шкаф на кухне слишком шумит? Я тут присмотрела...» или «Сегодня в нашем любимом универсамчике мне попался чудесный рифленый коврик для ванной. Денег, как назло, не было, но я попросила отложить...» Такие дела. Сначала я удивлялся, то есть удивляюсь я до сих пор, а сначала даже обижался: может, я сделал что-то не так, не смог зацепить по-настоящему?.. Ну, соответственно, комплексовал насчет своих мужских достоинств... Но потом перестал обижаться. Просто я понял, даже можно сказать отследил, что, по мере того как острота ощущений спадает, дело доходит до отложенного очага возбуждения и то, что в нем было, озвучивается... Получается как бы вторая волна оргазма, и без обращения к какому-нибудь рифленому коврику оргазм будет неполным.*

*Я потом даже старался рассматривать эти постсексуальные откровения как проявления беззащитности, доверия, что ли... Правда, периодически меня мучило страшное подозрение: а что если она после того просто произносит наконец вслух то, о чем думала во время того? И это подозрение касалось не столько самой Ларисы, сколько вообще природы женщины. Что опять же не прибавляло мне оптимизма. Да. Но расстались мы по-хорошему.*

*А свою любимую Юльку я встретил в маршрутке — тоже получилась целая история, очень даже поучительная. Там ехала одна дама, приятная во всех отношениях, и всю дорогу говорила по мобильнику, рассказывала о своих сегодняшних покупках. Причем сначала одной подруге, а потом то же самое — другой: кафель, плитка, изразцы... Народ, надо сказать, прислушивался с интересом, некоторые, наверное, сопереживали. Я, естественно, мучился и еще подумал про себя: «Вот за что вас называют тетками, независимо от возраста...» Ну, это самое цензурное из того, что я подумал. Рядом со мной сидела девушка — сначала я ее даже не заметил. Видимо, девушка тоже страдала, потому что я вдруг расслышал, как она очень тихо, про себя, сказала: «Вот с-с-сука», — как раз именно эти слова вертелись у меня в голове. В общем, я проехал лишних пять остановок и вышел вместе с ней. С тех пор мы неразлучны.*

*Сейчас я понимаю, что полюбил ее за целомудренность. В смысле полного отсутствия **потреблятства**. Теперь-то я знаю, какая это редкость — чистый секс, без примеси потреблятского разврата. У нас с ней одни и те же аллергены и одинаковые рвотные реакции.*

Хоба не возражал против записи этой истории. Любовь, о которой он говорит, действительно существует среди дезертиров с Острова Сокровищ и связывает людей друг с другом. Эта любовь основана на проявлениях настоящего мужского и необыкновенного женского.



В русском языке слово «шопинг» содержит неустранимый отрицательный оттенок, возможно, благодаря подспудным созвучиям. С позиций психологического плацдарма бланкистов это можно назвать благоприятным обстоятельством, хотя для теоретического анализа более нейтральный термин был бы предпочтительнее. Как бы там ни было, заменить «шопинг» нечем, границы явления очерчены более или менее точно: пойти по базару, посмотреть кой-какого товару. Будет ли при этом куплен товар, не столь важно, как может показаться. Это не столь важно даже для самой индустрии, для товарного производства в целом и уж тем более для основополагающего человеческого феномена, включившего в себя все привативные, «несобственные» модусы бытия, описанные Хайдеггером. Заниматься шопингом можно и не доставая кошелек, прибегая лишь к услугам воображаемого бумажника. Воображаемые «сто талеров», о которых с насмешкой говорил Кант, конечно же не сделают их обладателей богаче, но для занятий шопингом и этой мнимой наличности достаточно. Запримеченный товар попадает в отложенный спрос, возможно, со временем он будет куплен. Совокупного продавца в принципе устраивает уже сама эта возможность, поэтому он всячески поощряет любое праздничное по базару. Зато результаты такого праздничества дают повод для бескончаемых «бесед». Пресловутая *роскошь человеческого общения* в значительной мере сводится к обсуждению результатов шопинга.

Неукротимая стихия безответственной речи именуется Хайдеггером «болтовня» («Gerede») — нетрудно заметить близость, и даже сущностное родство этой стихии с шопингом. Сопоставление близкородственных проявлений позволяет предположить, что болтовня отнюдь не является чисто лингвистическим феноменом. Да, этот феномен пыльным цветом расцвел в сфере речи, где он, собственно, и получил свое имя. Но само по себе отсутствие словесной оболочки не прекращает болтовни. Ведь и обмен жестами на языке глухонемых может быть типичной болтовней, даже если при этом не произносится ни единого слова.

Петербургский исследователь Константин Пигров в свойственной ему оригинальной манере отнес к болтовне и *груминг*, широко распространенный у приматов. Действительно, груминг (поиск насекомых друг у друга, так сказать взаимопочесывание) заполняет собой почти весь фон совместного пребывания в безопасности.

Взаимное вылавливание блох, сближающее и объединяющее одностадников, разумеется, биологически целесообразно. Но есть основания полагать, что эта генетически первичная функция груминга отнюдь не главная, ведь обходятся же без него большинство млекопитающих. Несомненно, важнее другое: то, что груминг успокаивает, продуцирует коммуникацию ради коммуникации. В ходе антропогенеза (во время первой антропогенной революции) та же насущная задача была решена уже другими средствами — путем использования голосовых связок и колебаний гортани. Благодаря такому расширению болтовня смогла вместить целый мир, но ее сущностное родство с грумингом сохранилось. Это родство схвачено в интуиции русской речи, в замечательном выражении «хватит чесать языками» — любой антрополог мог бы позавидовать подобной наблюдательности.

Но если языковым воплощением груминга стала болтовня как таковая, то ее аналогом для опорно-двигательной системы явился шопинг. Груминг и шопинг — близнецы и братья, и, вновь обращаясь к лексической сокровищнице русского языка, можно добавить: у одного ни отца, ни матери, у другого ни стыда, ни совести... Шопинг как раз и удовлетворяет «потребительский зуд», сравнение Сократа здесь прекрасно работает. Отличный повод для чесания языками в свою очередь является медиатором

ускоренного товарообмена — так возникает замкнутый круг противоестественного хода вещей, где властвует исследованный Марксом товарный фетишизм.

Что ж, груминг был венцом эволюции и своего рода высшим удовольствием у приматов. Преобразившись в шопинг в человеческом мире, он тем не менее сохранил свой статус и по-прежнему является *высшим удовольствием приматов*. Он все так же сближает и объединяет одностадников. Но шопинг выступает не только в роли наполнителя сточных вод времени, будучи, как справедливо замечает Бланк, «растяжкой» человеческой жизни, устанавливаемой между ее началом и концом. Шопинг, в частности такое его социально-психологическое отложение, как вещизм, успешно имитирует смысл жизни. В нем есть все нужное для того, чтобы обеспечить субъекта пожизненным занятием, — все, начиная от скромного обаяния мира, переоборудованного в торговый зал, до тщательно разработанной системы поощрений для пользоприносителей.

Тип современного преуспевающего человека сформировался около ста лет назад. Один из жрецов Мельницы-Гидры, Дейл Карнеги, не мудрствуя лукаво заявил: преуспевает тот, кто рационально распоряжается своим временем. В чем-то жрец был прав, хотя ни одному дезертиру с Острова Сокровищ не пришло бы в голову назвать это время «своим». Опять же совершенно не ясно, кто тут кем распоряжается. Тем не менее человек успеха, во всяком случае, «не теряет времени даром», по этой причине он всегда занят и ему некогда отвлекаться на посторонние позывные. Однако, в соответствии с мыслью Хайдеггера, его «неотложные занятия» суть всего лишь прикрытие пустоты. Сотня дел придумана для того, чтобы скрыть гнетущее внутреннее безделье, духовную инерцию и душевную лень. Да еще чувство «никому ненужности» — его тоже постоянно приходится припудривать подтвержденными знаками успеха.

Отсюда такое хлопотливое служение идолищу, отсюда же и нешуточная самоотверженность, ведь у преуспевающего вещьглота зачастую и вправду нет времени даже на шопинг... Приходится отказывать себе чуть ли не в единственной радости жизни, в «контактах первой степени» с миром товаров, миром, особенно приветливым к рыцарям пользоприношения. Остаются, правда, *контакты второй степени*, в которых и воплощен принцип наслаждения для «делового человека». Такие контакты через посредников, точнее говоря, через посредниц можно назвать дистанционным шопингом. В отличие от любимой женщины механика

Гаврилова любимая женщина бизнесмена Смита играет роль выносного органа удовольствия. Ее самозабвенное погружение в шопинг компенсирует занятость одержимого пользоприносителя. Только на первый взгляд подобная ситуация может показаться абсурдной или метафорической: здесь как нигде работает правило «муж и жена одна сатана». Жрица успеха, одурманенная вещизмом (удавалось ли пифиям в Дельфах приводить себя в столь полное состояние самозабвения?), часами бродит по Супергипермаркету, удовлетворяя себя шопингом. Резонанс с выносного органа удовольствия достигает чувствительных центров второй сатанинской половины и производит надлежащее действие. Мистер Смит, во-первых, получает чувственное подтверждение своего успеха и правильности совершенного им выбора. Он даже умиляется тонкости душевной организации своей спутницы жизни, которая в одних случаях предпочитает Боша Филипсу, а в других, наоборот, Филипса Бошу. А во-вторых, уже ублаженная шопингом, насытившая свое обыкновенное женское, половина не требует потом слишком многого от супруга.

И она в свою очередь думает с умилением: как немного надо этому дурачку, чтобы чувствовать себя хозяином жизни. Ну, пусть похозяйствует на моих условиях... Получается типичная фигура превратности, из тех, что описываются Гегелем в «Феноменологии духа». Он думает, что имеет ее, она уверена, что имеет по полной

программе его, а в результате их обоих имеет Монстр — тот самый, что погубил всех донкихотов и перехватил приношения, адресованные прочим богам. Это и есть точное описание оргии потребительства, и глагол «иметь» с его характерной двусмысленностью как нельзя лучше передает суть ситуации.

\* \* \*

Помимо широко известной истории о подвешенном кафе, в «Гирлянде желтых лютиков» приводятся и детские воспоминания, которыми Парящая-над-Землей поделилась однажды со слушателями Петербургского подвесного университета.

*Мне было уже лет семь, когда я усомнилась в мудрости взрослых. Виновником этого оказались мои родные. Помню, у нас тогда гостил дядя, человек обеспеченный и, как выражалась мама, «правильный». По «ящику» как раз показывали какой-то репортаж про американских бродяг в Индии — на экране мелькнула фотография парня лет двадцати, помнится, у него был какой-то очень удивленный вид. Показали еще его гитару и какую-то сумку, увешанную плетеными ремешками. Голос за кадром сообщил, что этот человек погиб, вероятно, от передозировки наркотиков. Сообщили также, что имя и фамилия погибшего не установлены, местные жители, которые его хорошо знали, называли его просто «янки».*

*Глядя на меня, дядя прокомментировал услышанное примерно так: «Бесмысленная смерть, бессмысленная жизнь. Сгинул ни за грош, а мог бы ведь человеком стать. Делай выводы, Лиска» — и погладил меня по голове.*

*Выводов я никаких не сделала, но почему-то подумала: «А может быть, хорошо, что он не стал человеком. А то был бы таким, как дядя... нудным... неинтересным». И еще я подумала: неужели и мне придется стать человеком — на работу каждый день ходить, заполнять всякие квитанции. А нельзя ли туда, в Индию, он ведь там пожил со своей гитарой и сумкой... И я, помнится, спросила у дяди: «Дядя Валера, а если бы я там была, вот возле этих гор... меня бы, наверное, называли просто „русская“?» И дядя тут же меня утешил: «Что ты, девочка, у тебя будет жизнь как картинка. Вырастешь, замуж выйдешь, домом своим обзаведешься — и звать тебя будут по имени-отчеству».*

*Вот тогда мне стало страшно, и я заплакала. Первый раз заплакала над смыслом жизни, хотя уже тогда понимала, что когда-нибудь однажды непременно умру.*

Из рассказа видно, что Гелиос уже девочкой обнаружила нестяжательские задатки. У многих детей они присутствуют. Но такого рода задатки не только не востребуются, но, наоборот, активно подавляются, поэтому с возрастом обычно проходят. Кнут и пряник, анонимные воспитательные инструменты общества вещеглотов, действуют синхронно и достаточно успешно осуществляют воспитательный процесс. Однако законы всеобщей иммунологии, к счастью, не знают исключений. Подобно тому как среди разгула эпидемий чумы или холеры всегда находилась группа индивидов, просто *не способных* заболеть, несмотря на контакты любой степени (иначе человечество давно бы уже погибло), духовные соблазны тоже непременно наталкивались на кого-нибудь Фому неверующего с компанией. Ген резистентности к вещизму, и конкретно к шопингу как к самому притягательному его проявлению, всегда присутствовал в генофонде духовного опыта человечества. Хотя «особи»-носители этого отнюдь не доминирующего гена неизбежно становились маргиналами. Да, подавляющее большинство субъектов не представляют себе более захватывающего занятия, чем посмотреть кой-какого товару. Но, с другой стороны, всегда находится какой-нибудь Балда (Иван-дурак, Емеля или младший братец, которому достается кот в сапогах), ничего не смыслящий в этом занятии. Все движутся по накатанной колее, а он поступает поперек и живет поперек.

Окончательный исход противостояния нестяжателей и вещьелотов, разумеется, далеко еще не решен. Большинство теоретиков общества потребления (они же, впрочем, и критики, апологетов, как уже отмечалось, практически нет) предрекают тем не менее неизбежное поражение нестяжательскому движению. Они делают это «скрепя сердце», но находят множество аргументов для своего пессимизма. Любопытна позиция Чарльза Дилли, одного из самых красноречивых «гробовщиков» второго антропогенеза. Помимо всего прочего, Дилли отталкивается от генетического аргумента, однозначно интерпретируя его в свою пользу. Он опирается на теоретическое предсказание, сделанное генетиками еще в самом начале XXI века.

Так, анализируя эволюционные изменения в частоте встречаемости так называемого «мужского» (ХУ) и «женского» (ХХ) наборов хромосом, ученые зафиксировали тенденцию к «постепенному вымыванию из генетического пула вида *homo sapiens* хромосомного набора ХУ». Экстраполируя обнаруженную тенденцию на не такое уж отдаленное будущее, ученые-генетики сделали вывод, что через 700-800 лет набор ХУ полностью исчезнет и все генетически закрепленное в наследственности человека будет кодироваться «женским» набором ХХ. Это само по себе не приведет к неперемому исчезновению вторичных мужских половых признаков, поскольку набором ХХ могут кодироваться как женские половые признаки (в подавляющем большинстве случаев), так и мужские, а вот набором ХУ — только мужские. Но кое-какие изменения все же произойдут, и назвать их «прогрессирующей феминизацией» было бы слишком мягко. Однако используемый в Подвесном университете более точный термин — расХУяривание человечества — почему-то так и не прижился в научных кругах.

Как бы там ни было, последующие десятилетия подтвердили прогноз биологов, тенденция к «вымыванию» хромосомного набора ХУ только усилилась. Это породило множество самых разных спекуляций. Некоторые (например, Люк Лякомб и вся антверпенская школа антропологии), подготавливая себя к неизбежному, рассуждают в том духе, что со временем «вымывшееся» человечество будет рассматривать исчезнувших ХУ-носителей, как сегодня рассматривают вымерших палеоантропов, то есть как тупиковую варварскую ветвь, здорово подпортившую репутацию *homo sapiens*. Что же касается сэра Дилли, то он, несмотря на то что наборы хромосом не имеют прямого отношения даже к тендерному фенотипу, поместил «ген нестяжательства», ответственный, в частности, за врожденное отвращение к шопингу, в исчезающий «мужской набор», что в значительной мере предопределило его выводы. Помимо этого, Дилли очень любит ссылаться на опыт истории и на неисправимость человечества, которое чего только не повидало на своем веку, и вообще ничто не ново под луной...

Не относящееся к делу ворчание можно отбросить, поскольку все в истории когда-то происходило впервые. Когда-то впервые появились нестяжатели, возможно, что когда-то им впервые суждено будет победить. Почему же именно *не сегодня*? Ведь успехи движения налицо, созданы важные предпосылки духовной и материальной автономии, включая подвеску, некоторые акции бытия-поперек стали диверсиями всемирного масштаба. Бланк, конечно, прав, толоконный лоб еще крепок. Но дезертиров уже не вернуть на Остров Сокровищ. И племена уже не согнать к алтарю пользоприношения — их можно только уничтожить.

Теперь вернемся к женскому вопросу. Несравненно более глубокая погруженность женщины в экстаз потребления и по сей день является очевидным фактом. Такова уж природа обыкновенного женского в рассмотренном выше смысле. Но никто не утверждал, что подобное положение дел сохранится навечно. Есть еще стихия *необыкновенного женского*, и в ней заключен колоссальный экзистенциальный ресурс воинствующего и победоносного нестяжательства.

Одна из провозвестниц крестового похода против вещеглотов, Татьяна Горичева, вспоминает о своей жизни в Париже: «Я ничего не могла себе купить в этом потребительском раю. Сначала надо преодолеть себя, чтобы зайти в магазин. Потом как-то устоять перед водопадом похожих, но перекрикивающих друг друга товаров: платья, сумочки, подушки, снова сумочки... Хочется взять первое попавшееся, хоть что-то, раз уж зашла в магазин. Ведь потом снова придется себя настраивать неизвестно сколько. Но часто это оказывалось выше моих сил, и я выходила ни с чем. И все равно радовалась, что по крайней мере сегодня пытка мне больше не грозит».

Как знакомы эти страдания дезертирам с Острова Сокровищ! И как они смешны и непонятны прочим смертным... И хотя статистика в джунглях мегаполисов ненадежна, число девушек и женщин в рядах нестяжателей растет, при том что им приходится преодолевать куда как более сильное сопротивление всей суммы обстоятельств. Авторитет Гелиос, Парящей-над-Землей, в нестяжательском мире сопоставим только с авторитетом Бланка, а примеры *необыкновенной* самоотверженности тем более впечатляют, что в отличие от покидаемого мира в мире обретаемом никакой феминизации нет и в помине. Матриархат постиндустриального общества обрывается у черты оседлости, на вновь освоенных и заселенных территориях сразу видно, who is XY. Там живут гетеросексуальные мальчики, становящиеся воинами, — и как же их не полюбить...

Параметр совокупного эротического выбора был и остается одним из важнейших в человеческом мире. Ева Кукиш, избранная недавно ректором Петербургского подвесного университета, рассказала примечательную историю:

*Какие решительные девушки сейчас приходят... и женщины всех возрастов!.. Вот Женя Кротова просто чудо. Без всяких примерок и страховок бросила все, что было (а было немало, даже какие-то успехи в шоу-бизнесе), и пришла к бланкистам. Взяла себе ник Мария Франциска Бланка и сразу вступила в отряд. Более того, тут же присоединилась к вознесенным и наверняка пройдет испытания (для причисления к лику вознесенных требуется как минимум два года строгого нестяжательства). Мы много беседовали, и я как-то спросила ее насчет мужа. Ответ был достойным. Вместо того чтобы спеть песенку обыкновенного женского: мол, что муж, никакой от него пользы, не заботится обо мне... совершенно не ценит, ну и так далее, эта Женя Мария Франциска Бланка вдруг говорит «Да муж как муж. Обычное пользопрносящее уёбище». Это трогательное признание показалось мне симптоматичным.*

«Симптоматичным» — это хорошо сказано И если это действительно так, вещеглотам стоит призадуматься. Ибо близится новый виток перманентной революции, способный сокрушить самый прочный бастион жлобства. В ответе Жени-Марии скрывается некое предчувствие. Предчувствие того, *как именно* будет нанесен третий щелчок по лбу.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Принцип действия мимигатора

Вернемся теперь к тому моменту, когда очередная фаза развития общества потребления совпала со страницей биографии Бланка, тогда еще Даниила Пленицкого. Впрочем, говорить о простом совпадении в данном случае не приходится. Бланк непосредственно причастен к сотворению одного из фетишей окончательно обезумевшей цивилизации. Причастен по иронии истории, ибо он изобрел мимигатор. И не просто изобрел, а довел до технического воплощения и запустил прибор (или, скажем так, устройство) в серию. Сама же идея стала результатом курьеза, как это часто бывает с выдающимися изобретениями.

Работая в Антарктиде и имея дело с амуницией полярника (а также располагая изрядным количеством свободного времени), Бланк натолкнулся на мысль, которая показалась ему странной, даже абсурдной, и все же долго не давала покоя. Вот что говорит об этом он сам в выступлении, не вошедшем в «Полный Бланк», но помещенном в некоторых «желтых гирляндах»:

БЛАНК. Чтобы не замерзнуть при температурах ниже минус пятидесяти, шуб и тулупов недостаточно. Тут вообще мех сам по себе не спасет. Поэтому применяется принцип внутреннего подогрева — и это не то, что вы подумали. Приходилось ли кому-нибудь заглядывать в питерский Музей Арктики и Антарктики?

ЛЕВА ТИГР. Это где чучела пингвинов? Им, по-моему, меха хватает.

БЛАНК. У пингвинов подкожный жир — он тоже выполняет функцию внутреннего подогрева. Но у полярников кое-что другое. Короче, в витринах этого музея можно увидеть снаряжение антарктических экспедиций шестидесятых годов прошлого века. Среди прочего там на стендах разложены электроручки, электропортянки, специальные электрошарфы. В общем, есть на что посмотреть.

В принципе и сейчас используется то же самое. Ну, батарейки миниатюрные, дизайн поизящнее, но суть та же. И вот, наматывая как-то электропортянку, я подумал: а что если с нами на станции была бы дама? О дамах, правда, все полярники думали, но мне пришла в голову какая-то глупость: женщинам ведь понадобился бы электробюстгалтер как предмет амуниции, а в особых случаях — электропрокладки... В силу порочности моей натуры это соображение не просто промелькнуло как повод для улыбки (коллеги, например, посмеялись и забыли), а застряло надолго. И постепенно само собой трансформировалось в некий проект, из которого потом, много лет спустя, и родился мимигатор. Так что я несую полную ответственность за этот соблазн. Увы, из песни слова не выкинешь...

Вернувшись в Петербург, Бланк занялся бизнесом. Начав с нуля, он добился определенных успехов, сумев как-то продержаться в период всеобщей борьбы за выживание. Созданная им крошечная фирма оказывала геральдические услуги — продавала «генеалогические древа», заверенные печатью, где в зависимости от желания заказчика присутствовало дворянское или еврейское происхождение); «гарантировала качество» — за умеренную плату ставила собственный «знак качества» на любом товаре, обязуясь, соответственно, брать на себя все претензии потребителей; создавала юридические болванки «под ключ» для всех желающих тоже «попробовать себя в бизнесе». Как говорит Бланк в той же беседе: «Мы занимались предпринимательством в форме, единственно возможной в тогдашних российских условиях, — условия с тех пор, впрочем, не слишком изменились. То есть наш бизнес был сравнительно честным, как и у всех, кто находился в стороне от „трубы“».

Каких-либо заметных успехов в бизнесе добиться, впрочем, не удалось, если не считать того, что, занимаясь родословными, Даниил Пленицкий познакомился с Лилей, своей будущей спутницей жизни. Решающим событием этого периода времени стало изобретение мимигатора, принесшего компании ошеломляющий коммерческий успех, а самому Бланку «первую» всемирную известность. Кто бы мог тогда подумать, что «вторая» известность, совершенно иного рода, превзойдет первую? Все-таки мимигация произвела более существенные перемены в мире, чем аэробика или фитнес...

Устройство мимигатора, этой «деликатной штучки», как многие называли его первое время, и в самом деле чем-то напоминает электропрокладку. То есть, конечно, понятно чем — местом и способом размещения. Но принцип действия скорее противоположный: применяют мимигатор отнюдь не для того, чтобы избежать хлопот. В преамбуле патента, выданного на имя Даниила и Лилии Пленицких, говорится:

*Вводимый «лепесток» снабжен сенсорными элементами, реагирующими на перепады локальной внутренней температуры, вплоть до десятых долей градуса. Тем самым сенсорные элементы реагируют на сексуальное возбуждение или на сексуальный компонент общего возбуждения, после чего и начинается собственно мимигация. Зафиксированный импульс (температурный перепад) запускает опережающую фазовую динамику температурного режима («разогрев» с помощью контрастных перепадов с усиливающейся амплитудой) вплоть до достижения точки Р («pleasure»). После этого автоматически включается вибрационный режим, обеспечиваемый виброэлементами (специальными язычками и присосками) и разгоняющий уже следующую волну вплоть до точки Е («extasy»). Длительность стадий и общее время мимигации регулируется с помощью индивидуальной настройки.*

Несмотря на неудобоваримый язык, до сих пор принятый в патентных бюро, вполне понятно, о чем идет речь, тем более что уже это первое описание мимигатора снабжено всеми необходимыми чертежами и графиками. Мимигация органично встроена в общую картину возбуждения женщины (когда «девушки кипятком писают»). Стихийно генерируемые волны с вершинами в точках Р и Е просто берутся под контроль и одновременно интенсифицируются; немаловажно и то, что устройство не бросает бедную девушку на произвол судьбы, а гарантирует кульминацию.

В каком-то смысле мимигаторы произвели революцию в сфере чувственности, распространив юрисдикцию принципа наслаждения и на те сферы, чувственная составляющая которых прежде считалась несущественной или предполагалась вообще отсутствующей. Понятно, что мимигация применима лишь к женской сексуальности, где

эротическая подкладка представляет собой всеобщий фон взаимодействия с миром, универсальный показатель контактного проживания в отличие от примитивной и строго локальной мужской сексуальности, ориентированной лишь на избранные стимулы видеоряда или полностью переключаемой в результате сублимации. Миры мимигации расцветают лишь там, где полная, «чистая» сублимация невозможна.

Современные мимигаторы, сохранив оригинальную конструкторскую разработку, так сказать общую идею мимигации, далеко ушли от первых образцов. Сейчас «лепесток» — это всего лишь рабочий модуль прибора, входящий в единый комплект с миниатюрным пультом управления и некоторыми другими деталями. Но чаще всего панель управления мимигатором располагается на мобильнике, что, безусловно, экономит время и место (в сумочке). Именно миниатюрность, надежность и незаметность отличают мимигаторы от громоздкого оборудования, продававшегося прежде в сексшопах. Разумеется, запуску в массовое производство предшествовали полевые испытания. Лиля, испытательница первых мимигаторов, говорит, что поначалу эти приборчики действительно требовали «выносливости полярника» и понадобился почти год, чтобы «из этой пггуки можно было извлечь что-нибудь путное». Испытательный период прошел успешно — была достигнута нужная миниатюризация и произведена доводка всех параметров. Окончательная подгонка осуществляется уже индивидуально каждой пользовательницей, тем не менее лепесток сохранил первоначальную форму выносившего его лона, а интервал времени между точкой Р и запуском виброволны, оказавшийся константным (0,66 сек.), получил название «постоянная Бланка». На подготовительном этапе работ существенную помощь оказал известный знаток вопроса петербургский писатель Сергей Носов.

Сегодня мимигатор прочно вошел в быт прекрасной половины человечества, став чем-то вроде повседневного предмета гигиены. Изящный, компактный приборчик, который прекрасно «и выходит, и входит», регулируя увлажнение и чутко откликаясь на все позы своей обладательницы, мимигатор превратился в часть тела женщины и даже тела самой женственности. Его лепесток пребывает в ждущем режиме, подкарауливая желания хозяйки и мгновенно реагируя на них. В случае «ложной тревоги» (мало ли от чего могла повыситься температура) достаточно нажать на мобильнике кнопку «сброс мимигации», и режим ожидания автоматически восстанавливается через каких-нибудь пару минут.

Непосредственная причастность Бланка к созданию одного из последних фетишей общества потребления если и не вызывает прямых упреков у нестяжателей, то все же заставляет их сокрушенно качать головами. Однако, с другой стороны, мимигация внесла свой вклад в перпендикулярность бытия: она, в частности, усилила перепроизводство абсурда, что способствовало дальнейшему расшатыванию устоев цивилизации вещеглогов.

Эффективность мимигации, как уже отмечалось, обусловлена особенностями женской сексуальности и вообще чувственности. Решающую роль играет множественность и, так сказать, нелинейность возбуждающих факторов. Распространение мимигаторов привело к неожиданным последствиям — в частности, в сфере массовой культуры. Контакт исполнителя с аудиторией, по крайней мере с некоторой ее частью, стал куда более глубоким и непосредственным. Новое устройство повысило «объемность» телефонных разговоров, обострило многие волнующие моменты общения, вообще мир для женщины приобрел новое дополнительное измерение. Но именно массовая культура, точнее даже говоря, шоу-бизнес включил мимигацию в собственную, так сказать, физиологию. Появление дистанционных пультов и новых



кнопок на мобильнике позволяло в принципе «представить» результаты мимигации не только в виде волн внутреннего возбуждения и соответствующей им внешней телесной экспрессии (как и при обычном *занятии сексом*), но также и в виде неких объективных, наглядных данных — в виде любой «саморисующейся» картинке на дисплее, изменения частоты звуковых сигналов или смены музыкального сопровождения и т. п. Всевозможные распускающиеся бутоны и взбирающиеся на дерево белочки обеспечили неплохой фронт работ для специалистов по компьютерной графике. Сам собой возник и новый *девичий фольклор*, почти безгранично расширивший прежние тесные рамки эвфемизмов наподобие «сердце мое затрепетало». Разнообразие оценочных суждений *пыла и неги* возросло на порядок. Ведь одно дело, когда «белочка юркнула в первое же дупло», другое — когда она доскакала до самой вершины...

Пожалуй, наиболее любопытные и неожиданные следствия были вызваны возможностью получать сводные данные мимигации.

В техническом смысле суммирование отчетов, поступающих с мобильников и пультов, вещь элементарная, но она-то и произвела глубокие потрясения в культурной индустрии. Сегодня на концертах и разного рода шоу почти в обязательном порядке присутствует большое электронное табло, на котором высвечиваются *обобщенные кривые мимигации*, суммирующие отчеты работающих приборчиков. Благодаря своеобразной объективности показатели электронных табло теперь широко используются при подведении итогов того или иного шоу, определении победителей и призеров эстрадных конкурсов и в прочих «сопутствующих дисциплинах». Можно сказать, что и в культурной индустрии появился свой аналог знака качества для производимых ею изделий — так называемый средний балл по шкале мимигации, выносимый авторитетным жюри. Понятно, что критических и язвительных замечаний на эту тему хоть отбавляй, особенно со стороны пострадавших от новой системы подсчета баллов поп-звезд. Еще у всех на слуху едкое замечание Клода Лаптева, исполнителя популярной музыки: «Раньше мы не знали, за что и как нам выставляют баллы, и нередко возмущались. Теперь знаем, что это очень просто: *вставляют и выставляют*. И возмущаться бесполезно».

Распространение мимигаторов и расходящиеся круги вызванных ими новаций, несомненно, усилили общее обесмысливание мира, основанного на господстве товарного эквивалента. Возможно, Бланк и в этом был прав, хотя инструментом бытия-поперек в подлинном смысле слова мимигатор, конечно, не стал. Но некоторые точки уязвимости одряхлевших социальных порядков мимигация высветила. Она, например, явно способствовала решению такой важной для бланкистов задачи, как дискредитация политики. Когда ледовые арены и концертные залы принялись в спешном порядке снабжать демонстрационными табло, а «специальные жюри» теснили прежние экспертные советы по всему фронту массовой культуры, обеспокоенные политики решили подчеркнуть важность своей народоуправленческой миссии. Неизвестно, кто из спикеров первым произнес фразу «прекрасных дам просим отключить мимигаторы», но на какое-то время она чуть было не вошла в рутинную практику всевозможных «парламентских слушаний». Надо же было такому случиться, чтобы именно президент США так прокололся, да еще выступая с ежегодным посланием в Конгрессе. Стоило ему заикнуться насчет прекрасных дам, как экстравагантная журналистка с галерки тут же отпарировала: «Вам не о чем беспокоиться, сэр, — у вас все равно нет ни малейшего шанса запустить *их*». Газеты писали тогда, что «стены Конгресса сотрясались от хохота, который не часто услышишь и на выступлениях лучших комиков».

Прокол такого *большого* политика имел далеко идущие последствия. Мало того что последний президент-мужчина в истории Америки с треском проиграл очередные выборы

— впервые заметно пострадал престиж политической деятельности вообще. А стало быть, движение нестяжателей на шаг вперед продвинулось к своей цели.

В других отношениях воздействие эффекта мимигации на общество было не столь однозначным. Но наряду с прочими, действующими в том же направлении факторами мимигаторы сместили равновесие полов, сдвинули критическую точку в соотношении сил и возможностей. «Зависть к пенису», которую Фрейд еще в начале XX века рассматривал как драматическую завязку всей психической жизни женщины, исчезла безвозвратно. Ее сменила *зависть к мимигатору*, не менее драматичная и гораздо более очевидная в своих проявлениях.

Сложившуюся ситуацию лаконично, хотя и с ноткой ностальгии выразил петербургский фундаменталист, писатель Сергей Коровин: «Хорошо теперь девушкам — всякие удовольствия им теперь доступны... есть чудесные мимигаторы. А у нас только мужской половой хуй...»

Восприятие, в том числе восприятие сферы символического, обогатилось новыми красками. Но несмотря на эротизацию дополнительных аспектов мира, быстро осуществленную женщинами, вечными первопроходцами Эроса и его конкистадорами, труд и отчаяние любви в принципе нисколько не изменились. Проблема персональной востребованности как была, так и осталась экзистенциальной. Нуждаться в ком-то и быть нужным кому-то — таковы по-прежнему две стороны одной медали. Той самой, на которой и отчеканено счастье. И шанс встретить его в рядах нестяжателей существенно выше, чем в черте оседлости, где возбуждение, получаемое от шопинга, преобразуется мимигаторами в физиологическую кульминацию и вновь плавно переходит в истому воображаемого шопинга.

Тенденция совершенно неожиданного применения мимигаторов обнаружилась в самое последнее время. Дело в том, что физиологическая интенсивность ощущения и гарантированный оргазм подводят к черте, которую без всякого преувеличения можно считать опасной. Еще один из первых рекламных роликов новой продукции, в котором снималась сама Лиля, содержал слоган «Ты просто умираешь от наслаждения!..». Тогда это, конечно, было преувеличением, но в рекламном лозунге скрывается не просто метафора. Несколько смертельных исходов было зафиксировано еще на заре мимигации, не говоря уже о более многочисленных случаях потери сознания. Тут нет ничего удивительного, ведь в принципе учащенное сердцебиение сопутствует и оргазму, получаемому обыкновенным физиологическим путем.

Мимигатор после достижения «прихода» автоматически отключается, и сердце начинает биться ровнее. Но если изменить постоянную Бланка и в результирующей точке оргазма, в точке **Е**, подать на сердечную мышцу резонансный противофазный импульс, сердце почти наверняка остановится. Технически предусмотреть подобную возможность не так уж и сложно—и нашлись желающие. Так человечество оказалось на пороге овладения уникальным способом свести счеты с жизнью — способом опять же доступным только женщинам.

Мечта Батая о единстве Эроса и Танатоса в запредельной трансгрессии обрела свое воплощение. Если, оказавшись на седьмом небе блаженства, ты не пожелаешь возвращаться на грешную землю, достаточно нажать на красную кнопку «FM» («Fatal Mimigation»), которой снабжены криминально производимые мимигаторы, и короткие волны эйфории выбросят тебя на тот берег. Миг блаженства в этом случае станет последним мгновением жизни.

Соблазн фатальной мимигации оказался достаточно серьезным. Изобретенное Бланком и Лилей Пленецкой устройство помимо всего прочего сыграло роль решающего

эксперимента в многовековом философском споре о страхе смерти. Задумывавшиеся о природе этого страха в большинстве своем полагали, что человеческий страх смерти есть производная инстинкта самосохранения, так сказать, прямая психологическая проекция биологической универсалии. Фрейд, однако, рассматривал влечение к смерти (позывные Танатоса) как самый мощный зов человеческих глубин, заглушаемый поверхностным шумом жизненных устремлений. По мнению Жужи Йом, современного венгерского психоаналитика, страх смерти не является чем-то простым и может быть разделен на составные части. «Мы боимся не столько смерти, — утверждает госпожа Йом, — сколько страданий и боли, связанных с этим переходным моментом. Чаще всего не сам страх умереть как таковой останавливает нас у последней черты суицида, а какой-нибудь на первый взгляд совершенный пустяк, например представление о том, как незстетично будет выглядеть наше тело, упавшее с девятого этажа. Смертельный яд тоже может обезобразить нас, кроме того, смерти будет предшествовать прелюдия жестоких мучений. Вот если бы достаточно было просто сказать «стоп!» и все тут же прекратилось бы, войны и болезни наверняка уступили бы первенство в списке причин смерти последнему стоп-сигналу».

Пока еще экспериментальная база слишком мала, чтобы признать безоговорочную правоту Жужи Йом, но призадуматься уже можно. Кнопка «FM» отличается по принципу действия от «простого стоп-сигнала», и все же срыв в пропасть смерти с вершины наслаждения требует преодоления некоторого психологического барьера, к тому же спасительное «не сейчас» охотно приходит на помощь. Пока случаи фатальной мимигации не столь многочисленны, как можно было ожидать, но определенные статистические закономерности они выявили. Среди причин невозвращения из чувственного Эдема отчетливо выделяется страх подступающей старости (в отличие от наступившей старости, которая в этом смысле уже бесстрашна). Понятно, что именно для женщины этот страх не только сопоставим со страхом смерти, но и в некоторых возрастных точках намного превосходит его по остроте.

Но самым удивительным оказалось другое. Ужас старости, конечно, многих заставил нажать на красную кнопку. Однако, как свидетельствует статистика, самой распространенной причиной FM-суицида является *несметная любовь*.

часть

# ТРЕТЬЯ

от заката до рассвета

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Эль-Синор

Именно так назвал свою резиденцию выходец из Эль-Кувейта шейх Мустафа Хуррари. В самом выборе названия проявилось не только присущее шейху чувство юмора, но и законное право на каприз, без которого торжество победителя над покоренными народами не может быть полным. Сначала в Эль-Синоре расположилось *всего лишь* духовное управление мусульман Европы, но достаточно быстро городок стал фактической столицей Северо-Западного халифата. Марионеточные правительства европейских стран пытались по мере сил противодействовать исламизации территорий, которые еще сохраняли внешнюю форму суверенных государств. Сил, однако, было не слишком много. Серьезной поддержки от деморализованного обывателя ждать не приходилось — это с одной стороны. С другой стороны, единственной консолидированной электоральной группой очень быстро оказались все те же мусульмане. Мустафа из Эль-Синора, опираясь на совет муфтиев, решал, как должны голосовать последователи пророка в каждой отдельной стране. Он же заодно определял, что" правоверным следует смотреть, слушать, читать, а чтб, наоборот, искоренять.

Раздавались, разумеется, и голоса протеста, порой достаточно энергичные, смелые голоса (в условиях начинающегося преследования уже требовалось гражданское мужество), но они, что называется, *не имели последствий*. Можно вспомнить объединение петербургских фундаменталистов, пытавшихся реабилитировать имперское начало, превратившееся к тому времени в пугало для интеллектуалов. Вот отрывок из любопытного документа, написанного кем-то из них. Эссе имеет весьма характерное название — «Похищение Европы».

*Пока активисты экологических движений озабочены проблемой попадания в салаты генетически измененных огурцов, а цензоры восторжествовавшего феминизма пытаются отыскать и добить глубоко затаившихся сторонников фаллокрации, в мире происходят и другие изменения, тоже заслуживающие некоторой озабоченности. Прогрессивной общественности, конечно, не к лицу обращать внимание на всякие неправильности, ставящие под сомнение правильность самой прогрессивности, но реакционные одиночки, которым репутация гуманиста (вместе с прилагающимися к ней политическими дивидендами) все равно не светит, могут себе позволить собственное мнение о действительных бедах, которые постигли колыбель привычных, казавшихся неизменными ценностей, в том числе и «прогресса».*

Что же, если отбросить привычные рубрики газетно-журнальных новостей, то первым феноменом, определяющим политический облик современности, можно назвать контрколониализацию. Дело обстоит так: колониальные завоевания эпохи империализма остались в прошлом, они отвоеваны назад. При этом отступившие европейцы, потерпев полное поражение в реализации своей миссии, не обрели покоя в собственном доме. Точнее говоря, победители отнюдь не собирались оставлять их в покое: примерно пятьдесят лет назад началась тихая инфльтрация освободившихся народов, постепенно перешедшая в ответную колониальную экспедицию. Важнейшим фактором успеха на первых порах была именно незаметность проникновения, постепенность нарастающего присутствия. Как бы по взаимному согласию первый этап контрколониализации был обставлен десятком маскирующих причин: потребность в рабочей силе, предоставление политического убежища, необходимость приобщения национальных элит к демократическим ценностям, просто избытие комплекса вины... Каждая из этих причин по отдельности вроде бы что-то объясняла, но, собранные воедино, они фактически выполняли роль прикрытия для высадки преследователей.

Прикрытие сработало, высадка прошла успешно, и к концу XX столетия уже можно было подводить первые итоги. Демографические изменения (мягко говоря), происходящие сейчас в Европе, трудно определить точнее, чем применение «бомбы времени», чрезвычайно эффективного оружия контрколонизаторов. Бомба имеет свои особенности; будучи оружием массового поражения, она все же действует избирательно, поражая именно противника. Кроме того, хотя в масштабе истории взрыв очевиден и его эффект однозначен, живущее поколение может ничего и не заметить, тихо падая в воронку забвения. Приходя в сознание после очередной контузии, пораженные на мгновение замечают, как изменился мир, — и тут же вновь теряют сознание. Могли ли представить себе высокомерные и торжествующие плантаторы, несущие «бремя белого человека» в Африке и Азии, что пройдет каких-нибудь сто лет и бесправные, поработанные туземцы высадутся на их землях, чтобы мстить? Но вот они, рядом, занимаются своими делами, заполнив европейские города, взяв в осаду столицы. Они наложили на побежденных жесточайшую контрибуцию — разного рода социальные выплаты (пособия безработным, многодетным, больным и т. д.). Не стала тут исключением и Америка — достаточно вспомнить возникший около двадцати лет назад феномен новых городских джунглей.

Успешная контрколониализация явилась свидетельством глубокого кризиса традиционных социальных институтов. Скажем, с самого момента возникновения социальной философии было принято рассматривать государство как некую «упаковку» духовного единства, надежный сейф для хранения национальной идентичности, творческих вкладов, самой исторической длительности социума. Для этого есть основания. Государственность, помимо всего прочего, в течение многих веков выполняла функцию капсулы, защищающей уникальное духовное производство и от разъедающего действия времени, и от внешних помех. Нечто наподобие хитинового покрова с элементами опорно-двигательной системы. Однажды изобретенная или обретенная государственность стала чем-то вроде основного социального инстинкта; только что родившийся социальный организм едва ли не первым делом предпринимает попытку построить государство — последний карикатурный парад суверенитетов можно было наблюдать совсем недавно, после падения советской империи.

Между тем постепенно с государственностью случилось то же, что и со многими приспособительными механизмами живой природы: «хитиновая», капсулообразная государственность пережила свое время и в новых условиях

превратилась в анахронизм. Во-первых, власть единственной оставшейся сверхдержавы и глобальных структур типа ЕЭС в значительной мере обесмыслили принцип ответственности национальных правительств: подавляющее большинство их стало бесполезными бюрократическими группировками, паразитирующими на утратившем смысл социальном инстинкте. Во-вторых, выстроить государство значит не только обезопасить себя, окружить защитным покровом собственную культурную идентичность — это еще значит подставиться, оказаться у всех на виду. Поэтому наряду с «явной государственностью» как формой хранения идентичности вскоре возникает и другая форма хранения — проникающая диаспора, более экономная, компактная, но и более трудная в исполнении эволюционная стратегия.

Диаспору подстерегало множество опасностей — от спонтанного растворения в среде обитания (диссимилиации) до возможного уничтожения в случае идентификации как чужеродного элемента. Даже еврейская диаспора, значительно лучше других освоившая альтернативную стратегию исторической самоидентичности, не смогла избежать этих опасностей в той или иной форме. Но сегодня, как уже было сказано, ситуация радикально изменилась. Феномен успешной контрколонизации Европы третьим миром показывает, что проникшие в капсулы «вирусы» благополучно распечатывают свои собственные программы, беспрепятственно используя богатейшие внутриклеточные запасы «хозяина» и радуясь тому, что фиксированная государственность сохранилась, утратив при этом всякий трансцендентный смысл. Прямо как в притче из Чжуан-цзы: «Пока дерзкий Му, упражняя мускулы и совершенствуя боевое мастерство, заботился о защите своего внешнего, болезнь пожрала его внутреннее».

Не вникая в дальнейшие подробности глубокого кризиса западной цивилизации (их немало), можно сделать двоякий вывод. Во-первых, для окончательной победы все же недостаточно ни получения дани, ни «конфискации» государственности, ни даже применения бомбы времени. Контрколонизаторам необходимо еще единство воли — и оно сложилось на втором этапе, когда выступило в поход воинство Пророка.

Эти воины принципиально чужды лицедейства, и их акциях нет никакого разнобоя (в отличие от террористов-романтиков времен Че Гевары). Обращает на себя внимание обстоятельство, которое лишь на первый взгляд может показаться второстепенным: целый ряд последних терактов, в том числе и крупнейшие из них, прошли без громкого оповещения исполнителей о себе и без предъявления требований (хотя некоторые ситуативные задачи были решены попутно, например вывод испанских войск из Ирака). Если обобщить это умолчание, вы неся за скобки конъюнктурные требования, смысл послания окажется весьма простым: мы пришли за вами.

Сегодня армия полумесяца объединила все разрозненные отряды контрколонизаторов, и это произошло под аккомпанемент призывов к диалогу и заклинаний о взаимопонимании. Однако мнение неверных не слишком интересует улемов, другое дело, что вражеские государства, пережившие свой собственный смысл, могут быть использованы как убежища и склады боеприпасов (в том числе духовных) да и амуниции. Ради этого можно потерпеть и даже «осудить» террористов, раз уж таковы правила игры. Но, во-первых, не всегда удастся скрыть радость (все видели пляшущих палестинцев после событий 11 сентября), а во-вторых, это «мирское» осуждение никак не может повлиять на судьбу шахидов, попадающих в рай кратчайшим путем, минуя взвешивание души и прочие духовные таможи. Вот почему фетва вынесена одному только Салману Рушди, оскорбившему

Всевышнего. Подобная участь не грозила и не грозит тем, кто принадлежит к воинству Аллаха.

Не может не поражать согласованность действий с точки зрения общей цели, при том что единый руководящий центр отсутствует. Координировать действия «на всех фронтах» непосильно ни для кого, будь он хоть трижды бен Ладеном. Но и скромный мулла в каирской мечети, и почтенный муфтий в Баку, и шахид в самолете Pan Amегісап делают одно общее дело, и каждый вносит в него свою посильную лепту.

Самое же главное, как в тактике, так и в стратегии, это постепенная, но последовательная исламизация покоренных территорий: черной Африки, черной Америки, разношерстных отрядов самих контрколонизаторов и, наконец, «белой Европы». За примерами опять же далеко ходить не надо — от профессоров Сорбонны до юных шведок, уже успевших оглядеться вокруг и не нашедших ничего лучшего, простирается контингент новообращенных. Так устроено воинство Аллаха, и секрет его успеха чрезвычайно прост — это сила духа, некая сохранность, нестрашенность духовного начала. Вот, стало быть, второй вывод, скрытый от прогрессивной общественности, но доступный любому независимому реакционеру: похищение Европы, главного трофея, который фактически уже в руках у армии полумесяца, стало возможным благодаря деградации гражданского общества, бывшего основным завоеванием европейцев, триумфом их идеи свободы. Некогда союз равных граждан, готовых к ежедневному риску ради сохранения своих прав и самих основ своего бытия превратился в сборище первых встречных, объединенных последней уцелевшей «идеей» — принципом взаимного комфорта. Несмотря на свою многочисленность, это «объединение» бессильно даже против центурии шахидов и уж тем более против легионов воинства Аллаха, скованных самоотдачей и духовной дисциплиной.

Когда-то Зевс-громовержец, похитивший Европу, соблазнил ее греческой образованностью, трагической судьбой героев и завитками Логоса. Новые похитители ничем таким пленницу соблазнять не собираются. Они просто переименуют ее в Брюссельский халифат.

Если отбросить устаревшие на сегодняшний день реалии и приверженность петербургских фундаменталистов идее имперского реванша, придется признать, что во многом автор оказался прав. Ход событий подтвердил оправданность высказанных в тексте опасений.

Голландский режиссер Тео Ван Гог стал первой ласточкой точечного возмездия «воинов Пророка». В то время основной тактикой был еще массовый, огульный терроризм — и как раз Хуррари был едва ли не первым, кто высказался за изменение тактики. На совещании хакифов в Сараево он заявил, что тактика священной, но слепой ярости исчерпала себя и пора прекратить распыление гнева Аллаха.

Пора сосредоточить его на избранных мишенях и действовать строго по списку, избавляя подлунный мир от тех, кто персонально наполняет его мерзостью.

К гуманисту из Эль-Синора прислушались не сразу, справедливо рассудив, что одно другому не мешает. Но списки были составлены -на удивление, этих злодеев оказалось не так уж и много, две-три сотни на всю Европу. Неожиданно возникла совсем другая проблема -сформировать скрижали шахидов. Проблема выбора из бесчисленных претендентов, желающих попасть в первые ряды тех, кому суждено обрести немедленный рай и восхищение единоверцев. Абдулла Насраф (Поль Гульденбург), муфтий Бельгии и Люксембурга, прозванный своими последователями Би иль-Алла (Жало Аллаха), не уставал подчеркивать: лишь тот, чьи помыслы чисты, а жизнь может служить примером для правоверных, достоин быть внесенным в скрижали. «Ибо

возмездие неугодным это не способ избавиться от грехов, а вознаграждение за праведную жизнь» — так сказал Абдулла Насраф.

Ликвидация главного нечестивца, датского карикатуриста, посмеявшегося над Пророком, была доверена не боевику, привыкшему к обращению с оружием, а скромному почтовому служащему из США Исмаилу Хасану. Благодаря своему благочестию он выиграл так называемый «контракт рисовальщика» — с тех пор этот достойный воин ислама вкушает жизнь в раю и гурии каждый день ублажают его. Точно так же, на основе строгого и беспристрастного отбора, были определены мстители членам Нобелевского комитета. После этого негодяи, осмелившиеся присудить премию Салману Рушди, исчадию ада, недолго позорили подлунный мир своим присутствием.

Всем, наверное, памятен недавний диспут улемов в Эль-Синоре. Диспут был посвящен некоторым нерешенным вопросам борьбы за веру (джихад), в том числе и устранению неясностей в отношении *подвига шахида*. Понятно, что судьба самого шахида, равно как и священность его миссии, обсуждению не подвергались — да и какие тут могут быть разночтения у улемов, наизусть знающих Коран? Другое дело участь тех, кто стал жертвой шахидского подвига: очищаются ли, хотя бы отчасти, их души, поскольку возмездие настигло их уже здесь, притом возмездие в наиболее праведной форме, или, наоборот, их гибель есть знак того, что милосердие всемилостивого Аллаха не распространяется на этих нечестивцев вовсе?

Дискуссия продолжалась несколько дней, и подробности ее нам неизвестны. Но любопытно, что она вызвала большой «внешний» интерес в частности у французских философов, последователей Леви и Глюксмана. Профессора и доктора философии активно включились в обсуждение животрепещущей проблемы, посвятили ей несколько представительных форумов, не говоря уже о сборниках и журналах, - словом, в распоряжение улемов был предоставлен весь арсенал европейской метафизики. Но, как и следовало ожидать, истинные знатоки Корана проигнорировали интеллектуальную помощь гяуров. Впрочем, они не удосужились оповестить внешних наблюдателей и о своем вердикте.

Пренебрежение высшего мусульманского духовенства к суетному любопытству западной интеллектуальной публики нисколько не убавило интереса студентов и их наставников к теоретическим вопросам ислама: ловили буквально каждое слово. Когда Мансур Даах, ответственный за пополнение уммы, отклонив в очередной раз приглашение Страсбургского университета выступить с лекцией, прислал, однако, в ответ суру из Корана, это вызвало форменный ажиотаж. Сура гласила: «Могущество Аллаха столь велико, что ему поклоняются и верующие в него, и неверующие, а по утрам и перед закатом солнца поклоняются также и их тени».

Хотя текст, приведенный Даахом, объемомостью не отличался, его осмыслению были посвящены целых три номера журнала «Le Soleil», и каждый из авторов внес в осмысление собственные нюансы. Из общего тона выступлений следовало, что круче, чем в Коране, все равно не скажешь.

Периодические вспышки истерической активности со стороны властей не могли привести к сколько-нибудь устойчивым результатам, они только подчеркивали слабость и безволие «избранников народа». Чего стоил «сертификат лояльности», которым, под угрозой закрытия, должна была обзавестись каждая мечеть во Франции! Протестовать против *дискриминации одной из конфессий* вышли сотни тысяч людей, причем мусульмане даже не составляли среди них большинства. Откуда-то нашлась решимость у почтенных отцов семейств, хотя в других отношениях решимости им явно не хватало.



Не хватало, например, для того, чтобы объяснить своим чадам, почему Сайду нужно всегда уступать дорогу, а на Фатиму нельзя смотреть влюбленными глазами, а лучше вообще не задерживать на ней взгляда. Одним словом, прогрессивная общественность отстояла свободу вероисповедания и о сертификатах благополучно забыли.

Увы, сказать, что, высадившись на континенте, воинство Аллаха встретило достойного соперника, никак нельзя. Достойный соперник появился несколько позднее, когда дезертиры с Острова Сокровищ стали консолидироваться в общины и собираться в племена. И этот процесс вызвал яростный отпор со стороны власть имущих — в отличие от непрерывных уступок и попыток заигрывания с армией Пророка. С бланкистами и другими нестяжателями борьба велась (да и сейчас ведется) нешуточная — только к «исправительным работам» приговариваются десятки тысяч человек в год. Этгоре Габриэле, специальный уполномоченный ЕЭС «по борьбе с варварством и социальным нигилизмом», недавно заявил: «Мы должны сначала избавиться от нашего позора, и лишь тогда мы сможем противопоставить наши гуманистические ценности всем прочим формам радикализма». Ясно, что «позором» синьор Габриэле считает отнюдь не жизнь, проводимую в непрерывном шопинге и пользоприношении. И не раболепное *поклонение жней*, за которое снисходительно подбадривают в Эль-Синоре. Под «позором» он понимает свободный выбор тех, кто вернулся к чистоте вещей, слов и человеческих отношений. Вообще, обращает на себя внимание прямо-таки трогательное единодушие властей халифата и марионеточных европейских правительств в отношении борьбы с нестяжателями. И это не случайно.

По мнению бланкистов, погрязшая в вещизме и политкорректное™ Европа окончательно утратила гражданское общество. На смену ему пришло некое аморфное формирование, не соединенное никакими внутренними связями, кроме товарно-денежных отношений. Но в противоположность «дикому капитализму» прошлых веков и эти отношения полностью «одомашнены» — в них не осталось даже того творческого авантюризма, который вызывал невольное уважение критиков (включая Маркса) и мог быть сублимирован в достаточно решительные деяния. В своей основе это общество уже мертво; неудивительно, что индивиды, сохраняющие еще присутствие духа, покидают «овощехранилище», отбывая кто по направлению к Эль-Синору, кто на волю, за черту оседлости.

Беспомощность вещеглотов и их полномочных представителей, именующих себя политиками, превратилась в слишком привычную картину — в таких случаях иногда полезен свежий взгляд со стороны. В «Гирлянде желтых орхидей» есть любопытный рассказ Фаруха Мбалы, выходца из Сьерра-Леоне:

*Родители привезли меня в Европу в 15 лет, и я сразу оказался в Париже. Что и говорить, я попал в мир чудес и диковинок: витрины, экраны, машины, тысячи непонятных мне вещей. Но не вещи и не картинки удивили меня больше всего. Больше всего удивили люди. Люди, которых я встречал на улицах, в кафе, в магазинах, в офисах... Я уже тогда поражался их бестолковости, пугливости — и никак не мог поверить, что это они построили величественные замки, основали университеты и напридумывали чуть ли не все, что способен придумать человеческий ум. Мне уже тогда казалось (а теперь я точно знаю), что те, придумавшие и создавшие, были совсем другими людьми, нисколько не похожими на этих. Эти просто пришли на все готовенькое и теперь не знают, что делать дальше. И я вдруг понял, что они такие же иммигранты, как и я, только хуже. Они могли бы стать законными правопреемниками покорителей мира, покоривших когда-то и науку, и нашу Африку, и, кажется, саму человеческую природу, но они промотали наследство своих отцов.*

*Нельзя даже сказать, что они пользуются тем, что им досталось,—скорее как дети играют в игрушки: то в солдатиков, то в министров... на выборы ходят, словно взрослые, но если хорошенько прикрикнуть — захнычут.*

*Наверное, так же удивлялись пятьсот лет назад настоящие, великие европейцы Писарро и Фернандо Кортес, когда, высадившись в Америке, рассматривали грандиозные храмы, наполовину уже бывшие руинами. Рассматривали и не могли поверить, что встретившее их местное население могло иметь отношение к этим свидетельствам человеческого могущества. Вот и я, конкистадор из нищей Африки, с удивлением наблюдал, как аборигены робко прячутся среди своих руин — и трясутся от страха. Я понял, что трястись им осталось недолго.*

Путь Мбалы можно назвать типичным. Освоившись в Париже и даже поучившись в Сорбонне, он принял ислам (тогда-то он и стал Фарухом), а еще через три года перебрался в Брюссель и ушел в джунгли. Там он обрел достойных товарищей. Сегодня Мбала больше не Фарух. Сегодня он Кшами, вождь племени рутов и член Совета вождей Бенилюкса.

\* \* \*

Когда лет десять-двенадцать назад условная юная парижанка предпочитала очередного Сайда очередному Жану, она делала это вполне безотчетно. Да и чем, каким соображением ratio можно мотивировать чувственный выбор? Ну разве что, как библейская жена Потифара, пытаюсь объяснить неумолимость влечения к Иосифу, сказать те же, далекие от ratio слова: *ибо я видела его силу*. Живое естественно стремилось к живому, и лишь сникерснутые безошибочно выбирали друг друга. Они делали так, чтобы не дать себе засохнуть, и это у них получалось.

Нельзя не признать, что пополнение уммы осуществлялось за счет тех, кто не хотел окончательно терять присутствия духа. Тогда очаги нестяжательского сопротивления были еще разрозненными, но Бланк и его друзья в далеком Петербурге уже всю практикували бытие-поперек. Это им предстояло увести прекрасных пленниц у заплывшего жиром евнуха Потифара, что бы там ни говорил Абдулла Насраф.

А еще через несколько лет племена вышли на тропу войны. Войны безоглядной, жизнерадостной, но отнюдь не лишенной ни жертв, ни жертвенности. Как изменилась печальная картина, когда пару лет назад flash-мобилизованные отряды Бланка, поддержанные многими коммунарами и племенами (и десятками тысяч сочувствующих), провели грандиозную всемирную акцию под девизом «Выбрось последнюю покупку!». Входы в крупнейшие супермаркеты оказались буквально заваленными горами товаров, большинство из которых было даже не распаковано.

Как хороши были эти вдохновенные люди, швырявшие к ногам вещьглотов их жлобские фетиши со словами: «Кесарь, возьми свое кесарево!» Вполне в духе Пушкина-Изумруда можно было сказать, что здесь и сейчас, посредством кесарева сечения, родилась новая социальная общность. Авантюрное братство, полное жизни и возможностей бытия заново. Последователи Пророка наконец столкнулись с силой, истоки которой были им непонятны, а власть над душами очевидна. Некоторые простые истины, содержащиеся и в Библии, и в Коране и считавшиеся тяжкими заповедями, воплощались в жизнь легко и радостно. А что мог противопоставить Эль-Синор вознесенным, новым брахманам, непреложные добровольные запреты которых касались не отдельных видов пищи, а покупок вообще и денег как таковых? Ползучий джихад со вспышками точечного возмездия? Он годился лишь для запугивания марионеточных правительств и политкорректных избирателей. Дезертиров с Острова Сокровищ трудно

было чего-то лишить, а уж пытаться соблазнить их порядком, спокойствием или *благосостоянием* было бы просто смешно.

Что же касается отказа служить ложным богам, тут уместно вспомнить, что говорила Парящая-над-Землей европейским бланкистам:

*Настоящие боги потребительской цивилизации не обманывают тех, кто им верно служит. Они просто предлагают медный грош, и на эту пустышку почему-то покупаются тысячи и миллионы, покупаются целые народы. А ведь достаточно было бы лишь здраво оценить, взвесить то, что тебе предлагают. Когда-то давно жрецы Мельницы-Гидры пообещали: «Служите нам верно, и мы приведем вас в страну, где кокаколовые реки и попкорновые берега!» И не обманули, в самом деле привели. Вот только оказалось, что больше ничего достойного внимания в этой земле обетованной и нет. Теперь мы обращаемся к каждому из продешевивших: не пей, братец, из этой реки, козленочком станешь. Но что-то случается с разумом тех, кто дорвался до потребительского рая. Пьют и закусывают, млея от удовольствия. И там, где была земля людей, простираются бескрайние пастбища шопинга, а на них пасутся бесчисленные стада двуногих. И каждому хватает колы, и попкорн у них не кончается. Что тут скажешь: идиллическая картинка. Райское наслаждение. Пять лет назад на встрече в Милане Бланк говорил вещи, показавшиеся тогда не самыми актуальными — тогда, когда войны нестяжателей и вещеглотов были в самом разгаре, когда в джунглях устраивались регулярные облавы, а рупоры mass media захлебывались от призывов «остановить вандализм» и «пресечь варварство». Собравшиеся ожидали, что Бланк поведет речь о защите сквотов или о новых социальных программах для бездомных. Но речь зашла о другом.*

БЛАНК. Нам следует осмыслить одну важную вещь. Это нужно было сделать еще вчера, но лучше поздно, чем никогда. Я говорю о проблемах, свалившихся на нас вопреки нашему желанию. Мы-то добивались, чтобы нас оставили в *покое*, всячески показывая вещеглотам, что нам не нужны их сокровища, почести и прочие радости высшей приматологии.

ГОЛОС. Не оставили и оставлять не собираются.

БЛАНК. Это верно. Однако сегодня мы видим, *что* наш враг, я имею в виду *истеблишмент*, скорее мертв и только притворяется живым. Пожалуй, борьба с нами это последнее внятное действие, на которое власть способна как единое целое. Все свои прочие функции государственные структуры только имитируют. Они, например, больше не защищают обывателей от новых хозяев Европы. Впрочем, защищать человека от его собственной трусости — задача не из легких. А боятся все: политики боятся разоблачения, того, что их уличат в выступлении под фонограмму, поэтому они так старательно открывают рты и копируют все жесты всамделишных политиков, которые исчезли вместе с исчезновением гражданского общества. Газеты, журналы и телевидение боятся гнева Аллаха, а профессора помимо этого еще и гнева своих студентов...

Не приходило ли вам в голову, что ненавистный нам обыватель вот-вот обнаружит, что других защитников у него нет? И нам фактически уже сейчас приходится вести борьбу на два фронта, защищая и собственных гонителей?

ДИ БЛАНШ. О чем ты, Бланк? Выйди на улицу, и вокруг нашего сквота ты увидишь целую толпу копов. Вчера я посмотрела «ящик», там всякие уполномоченные вещеглотов наперебой предупреждали, что в Милане собираются лидеры городского сброда со всей Европы.

БЛАНК. Вот именно. Всполошились *стражи порядка* и эти, как их там, *блюстители закона*. А есть еще столпы общества и всевозможные «официальные лица». Точнее говоря, отвратительные официальные рожи. Веришь ли ты, Ди Бланш, что все эти э... живые карикатуры... стоят на страже интересов законопослушных граждан?

ДИ БЛАНШ. Я знаю, что сохранять человеческое лицо и заниматься политикой — две вещи несовместные. Может, ты думаешь, Бланк, что и нам пора заняться политикой?

БЛАНК. Ни в коем случае. Стражи и блюстители всеми силами именно этого и добиваются. Нам предлагают: сформулируйте свои предложения по реформированию экономики... представьте программу социальной реформы... зарегистрируйтесь... проведите избирательную кампанию... Но имеют в виду одно: станьте такими, как мы. Примерьте на себя официальные лица. Мы же отвечаем: лучше уж маски на празднике Хеллоуин, в них больше человеческого...

КИНГ САЙЗ. Так в чем же дело, Бланк? Они там — в парламентах, офисах, в телевизорах. А мы тут, в сквотах. Пусть они и договариваются со своими этими, законопослушными...

БЛАНК. Вспомните-ка, кто основал Соединенные Штаты Америки. Представители истеблишмента, добропорядочные бюргеры и политики? Ничего подобного. Это были люди, высадившиеся с Ноева ковчега. Поденщики, лишние рты в своих семьях, ковбои, беглые и несостоявшиеся каторжники. Чем-то они были похожи на нас. Кажется, они точно знали, чего они не хотят, а многие из этих первых американцев практиковали бытие поперек.

Макс Вебер точно заметил, что двумя главными инструментами американской цивилизации были кольт и Библия. И вы тоже не смотрите на свое происхождение, не обращайтесь внимания на анкеты, которыми снабжают вас марионетки вещеглогов. Сколько бы они там ни набрали баллов в своих анкетах, сколько бы ни вложили средств в свои безупречные репутации, все равно их игра безнадежно проиграна. Исторические деяния не совершаются и никогда не совершались официальными рожами...

РАСТА ДЖОДО. В жопу Америку. По-моему, у тех ребят была неважная идея.

БЛАНК. Не горячись, раста. За триста лет многое может испортиться, так уж устроен мир. Мне как раз кажется, что идея у тех ребят была неплохая и кое-что тогда получилось. Они не отвечают за своих правнуков, раста, так же как и мы, сам понимаешь. Но за современников нам отвечать придется, хотя бы потому, что больше просто некому. Ведь звания и дипломы — это все такие же побрякушки, как и прочие фетиши, за которыми устраивают пожизненный шопинг. У тех парней, раста, была тогда из побрякушек только звезда шерифа, но она чего-то стоила. У нас с тобой связка ленточек да походная лестница — они сегодня стоят куда больше, чем погоны колов и значки парламентариев.

РАСТА ДЖОДО. Все равно, в жо...

БЛАНК. Если тебе не нравится сравнение наших общин с Америкой, вспомни тогда первых христиан — они, пожалуй, еще больше были похожи на нас. Эти рыбаки и просто бродяги победили тогда, потому что всерьез приняли слова Иисуса. Их более образованные потомки уже склонны были трактовать евангельские слова как фигуры речи. С тех пор только мы восприняли слова буквально — и вы видите, что они и впрямь чудодейственны.

КИНГ САЙЗ. Какие слова, Бланк?

БЛАНК. Насчет правильной формы *заботы*. Я не помню дословно, но тут среди нас есть несколько пасторов, они, если что, поправят: «Скажу вам: не заботьтесь, что есть и что пить. И об одежде что вы заботитесь — посмотрите на полевые цветы, они безмятежны и не трудятся, но Господь дает им убранство роскошнее, чем у Соломона.

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, и это все приложится вам». Эти слова истины мы проверили на практике и убедились, что они дают силу.

Когда Бланк произносил свою речь в Милане, священников в рядах нестяжателей было еще совсем мало, их активное присоединение к людям джунглей и катакомб началось несколько позже. Паства опередила своих пастырей. Но падре Чезарино, прозванный впоследствии преподобным Че, уже тогда был среди бланкистов. Вот отрывок из его проповеди, дополняющий и развивающий идею Бланка.

*Только чистые душой обладают истинной зоркостью — и я радуюсь, что таких большинство среди вас. Зоркость, и еще какая, нужна для того, чтобы распознать прибежище дьявола, ибо этот враг воистину хорошо замаскировался. Ибо если Господь сокрыл свой лик и не только явления Его, но даже и знамена иссякли, а остались одни пустые картинки, это значит, что враг рода человеческого многократно расширил свое присутствие. Однако отнюдь не просто опознать его и его дела, иначе мы не говорили бы о дьявольских хитростях. Ведь если сатана действовал бы в открытую и под своим именем, разве добился бы он такого триумфа? Все ищут дьявола там, где его уже нет, всякий раз принимая сброшенную кожу змеи за самого змея. Его ищут то среди маньяков-одиночек, то там, где собираются кучки карикатурных сатанистов. Увы, князья церкви ошибаются здесь так же, как и простые миряне, и они загипнотизированы образами средневековых иллюстраций.*

*Я тоже не могу сказать, что разгадал все происки сатаны. Но один верный признак мне известен — однажды я понял: дьявол там, где нет жизни. Там, где обитает одна нежить. Он там, откуда ушли вы, потому что ваши чистые души безошибочно отреагировали на его близость. Вы смогли распознать метафизический запах серы, замаскированный лосьонами и дезодорантами.*

*Да, руки сатаны протягиваются к нам как раз там, где рациональность и порядок празднуют свое полное торжество. Никакое сгущение мистики не может привести к таким благоприятным условиям для плясок нечистой силы, как безжизненный, бездушный порядок. Ведь именно идеей порядка был одержим Гитлер, один из самых настойчивых и последовательных поборников рационализации. Он искренне считал, что «презренные италяшки» недостойны великой Италии, и искренне от этого мучился. Войну фюрер рассматривал как самый быстрый инструмент рационализации. Пресловутый демонизм де Сада или Чарльза Мэнсона по своим разрушительным последствиям даже близко не стоял рядом с гитлеровской манией порядка.*

*Понимая это и видя ваш решительный выбор, мы можем теперь догадаться, где сегодня дьявол нашел себе самое надежное убежище. Не в капище и не на кладбище — представляю себе, как он радуется, когда подобные сказки рассказывают детям. Его логово, убежище, его штаб-квартира — в супермаркете. Потребительский рай — вот как называется земная проекция его ада. И это то место, где человек незаметно, но зачастую, увы, непоправимо расстаётся с душой. Я благодарен вам за то, что вы открыли мне эту истину, которая всегда ведь была истиной Иисуса.*

*Эту истину прекрасно знал, например, Кафка. Ему удалось отследить, где именно и при каких условиях проступают огненные буквы врага человеческого. Они высвечиваются отблесками адского пламени там, где все отлажено до автоматизма — до такой степени, что оттуда ушла жизнь и дух улетучился. Там, где полнота человеческого становится излишней и принципиально не востребуемой, а движения души только создают помехи в работе механизма. Там располагается столица*

царства его. Мой соотечественник Данте, описав круги ада, не смог проникнуть в его земное представительство, в роскошную приемную. Это сделал Кафка, после чего его оптикой воспользовались многие, в том числе и другой мой соотечественник, замечательный писатель Гоффредо Паризе. Они показали, как из канцелярских скрепок, обретающих статус символа, восстает сам Люцифер. Восстает с мешком, полных покупок. В таком виде он и вселяется в души смертных. Обратите внимание на не сразу заметное, но очень важное различие. У Санта-Клауса мешок подарков, а у Люцифера мешок покупок. Их можно оформить в кредит, оплатить сразу или получить в виде рекламных предложений. Но настоящая расплата все равно придет. В этой детали и просвечивает сама суть решающего отличия; возможно, его и имел в виду кто-то из философов, сказавший, что дьявол прячется в деталях. Вам же, братья мои, эта истина открылась на практике. Так и прежде поступал Господь, пренебрегая мудрствующими и веря свое слово тем, кто легок „а подъем, не отягощен бременем мира саго. Вы свернули с пути стяжательства, сделав шаг к спасению души. Но позаботьтесь и о душах ближних своих, не будьте жестокими,

Храмы ваши лишены помпезности, а зачастую внешних признаков храма. Они попросту невидимы для замыленного глаза потребите привыкшего реагировать только на яркие обертки. Но пусть двери храмов будут всегда открыты, и всякий вошедший пусть удостоится приветливого слова. Дела ваши праведны, в них нет дьявольской монотонности, но есть порывы жизни, не почувствовать которые нельзя. И если вы будете благожелательны к ближним своим, они тоже обретут шанс на спасение. Ибо все вместе мы пребудем в лоне истинной церкви, определение которой дал сам Иисус. Вспомните, братья, это простое определение: «Где вас трое соберется во имя Мое, там и Я среди вас». А собираться во имя Его, Спасителя нашего, это вовсе не значит ежечасно поминать имя Господне всуе. Это значит жить жизнью человеческой, а не той суетой, на которую обречены марионетки Лжеца.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Эпизоды ВОЙНЫ

Ужас власть имущих начал проявляться в полной мере, когда к нестяжателям стали переходить священники Римско-католической церкви и профессора Сорбонны — люди, так сказать, повышенной чуткости, успевшие «разочароваться» в исламе. Они, как водится, последними заметили живой источник, но зато их выбор кое о чем говорит: эти персонажи всегда делают ставку на потенциальных фаворитов и редко ошибаются. Жан Боденарг, возвестивший о начале *второй реформации*, возможно, и поторопился, но и в самом деле со времен Лютера в христианских общинах не отмечалось еще такого духовного подъема и *собственно* религиозного творчества. Камень, отброшенный строителями, все же поставлен во главу угла, а то, что этот камень обнаружился среди руин, чуть ли не буквально подтверждает слова Евангелия.

Знаменитая гегелевская фраза о том, что «историю движут вперед не лучшие ее стороны», может пониматься по-разному. Маркс, Ницше и, скажем, Фрейд понимали и применяли ее каждый на свой лад — все дело в том, что или кого считать лучшим. У первых христиан, последователей Иисуса, была на этот счет своя версия. Однако есть и нечто общее в любом понимании гегелевской формулы. Речь идет о том, что мгновенная и очевидная признанность мира сего неизбежно расходится с истиной будущего, а следовательно, и с истиной истории. Быстрота распространения того или иного поветрия (скорость соблазнения) это, как правило, плохой признак с точки зрения судьбы, так сказать, жизненности учения. Великое вызревает долго, и ничто не истребляется с такой беспощадностью, как преждевременные ростки того духовного явления, которому суждено покорить мир.

Даже та очевидная вещь, что принципы нестяжательства не просто *не противоречат* Новому Завету, но и напрямую основываются на нем, пришла в голову далеко не сразу, а иерархам церкви она пришла в голову в последнюю очередь. Уж больно нелегко дается узнавание: профессионалы ожидания придумывают множество примет, составляют коллективный портрет грядущего избавителя, который, несомненно, должен быть мудр их мудростью (не зря же они всю эту мудрость усваивали), а тут под ногами всякий сброд шатается, смущает паству... Сам Иисус немного сказал о грядущих восприемниках его истины. Но кое-что все-таки сказал: *И последние станут первыми*. Это горькая истина для всех иерархов, поскольку в своей отрицательной форме она означает, что первенствующие в хрониках мира сего ни при каких обстоятельствах не будут первыми в *Его Списках*.

Смысл христианского кенозиса в значительной мере определяется отдаленностью «точки воплощения». Иисус в принципе не мог бы быть земным царем наподобие Гаутамы Будды. То, что Дева Мария была женой плотника, а сам Иисус в миру бродягой,

отнюдь не является случайным обстоятельством: принадлежность к отвергнутым органично определяет дух христианства как таковой. Кенозис не является «снисхождением» ни в каком смысле, это скорее предельная ставка на ту подлинность, которую не смог укротить Вавилон. «Отброшенность» камня строителями Вавилона есть указатель его возможной

пригодности для Града Божьего - всего лишь возможной, но и это уже немало. Ведь все, что размещено в вавилонских витринах, в принципе неспасаемо.

Поразительным образом подражание божественному кенозису можно обнаружить на полюсах, весьма далеких от доктринального христианства. Вот Маркс с его подчеркнутым атеизмом: кажется, что смирение меньше всего свойственно этому революционеру. Однако в гимназические годы Маркс написал небольшое сочинение «О подражании Христу», и соответствующие мотивы и отголоски можно обнаружить во многих его работах — чего стоит «Манифест Коммунистической партии», пронизанный пророческим пафосом. Но еще более важен совершенно христианский по своей радикальности решающий выбор: книгочей, очарованный гегелевской философией, а затем и духом науки, обреченный, казалось бы, на академическую карьеру, решительно оставляет среду своей потенциальной признанности и выбирает самую далекую точку идентификации — пролетариат. Что особенно важно, выбирает как раз не из снисхождения, а по принципу решающей ставки. Если отбросить внешнее наукообразие, модное в середине XIX века, критерий выбора будет все тот же: и последние станут первыми.

Дезертирство Маркса с Острова Сокровищ выглядело (и по сей день выглядит) предательством цеховых интересов, изменой делу чистого разума. Однако именно благодаря дальности броски образовался простор для теоретического осмысления (поле развития философии), равно как и для самой истории, *поступь* которой резко ускоряется, когда есть куда ступить.

Не менее великий книгочей и богоборец Ницше тоже совершает своеобразный кенозис, избирая фигуру воина-аристократа как вершину человеческого проекта, фигуру чуждую, враждебную и опасную для своего собственного цеха. Однако сила и влияние философии Ницше в значительной мере связана с высотой взятого барьера, и сам философ прекрасно сознавал это. Полная ясность выбора присутствует и у Бланка. Бизнесмен, добившийся в конце концов ошеломляющего успеха, оформитель одной из самых ярких витрин общества потребления, Бланк напоминает Савла, ставшего Павлом. Он разглядел ростки истинной жизни в мишурном, марионеточном существовании, распознал истинный пролетариат и сделал на него решающую ставку. Бланкисты и по сей день составляют самое прочное ядро нестяжателей.

За время своего исторического существования Европа видела множество гражданских войн, при желании можно, наверное, составить целую энциклопедию уличных боев. По странному совпадению достаточно яркую страницу в эту стихию вписал Огюст Бланки — в некотором смысле тоже предшественник Бланка. Вообще, чего только не было: баррикады, перевернутые автобусы, бутылки с зажигательной смесью, ленинские тезисы относительно первоочередности захватываемых объектов: телефон, телеграф, мосты, банки... Порядок очередности решительно изменился: мог ли предполагать Ленин, что контроль над крышами и чердаками новые пролетарии предпочтут захвату казарм и банков? Кое-что изменилось, конечно, еще с приходом воинства Пророка (в частности, именно радикальные исламисты отказались от принципа топографического обособления воюющих сторон). Тактика «выжженного асфальта» тем не менее завершила целую эпоху войн во имя политики, хотя духовное противоборство религий выходило, разумеется, за пределы политики.



Нестязательские войны представляют собой конфликт двух версий мира, их особенность в том, что принципиально отсутствует трофей (добыча), обладание которой знаменовало бы победу той или иной из сторон. Необычность цели во многом определяет и выбор средств. Например, жестокость по отношению к противнику легко может стать причиной твоего поражения, но и нерешительность ни к чему хорошему не приводит. Практически отсутствует так называемая рутина войны: изобретательность, поиск новых приемов относятся в данном случае не к разряду военных хитростей, а к самой сути противоборства.

Контроль над крышами, «нишами» и подземными коммуникациями исключительно важен, в частности, потому, что горизонтальное кольцо окружения дополняется вертикальным — собственно говоря, кольцо преобразуется в сферу, прервать которую без серьезных повреждений собственного социального тела практически невозможно. Если топографически противоборствующие стороны не обособлены друг от друга, находясь на расстоянии брошенного взгляда, а то и вытянутой руки, то «стихии», в которых они обитают, соприкасаются лишь по краям. Условно говоря, веще-глоты облюбовали стихию земли — отсюда и характерная приземленность их устремлений и интересов, нестяжатели же обитают в стихии воздуха, куда нет доступа польздоприносящему племени. А промежуточную среду заселяют двоякодышащие, которые сегодня на стороне нестяжателей (как сочувствующие) и даже составляют ближайший резерв.

Если все же ограничиться упрощенной картографической проекцией театра военных действий, нетрудно заметить, что вторичные джунгли, так же как и прерии (техногенные пустыри), представляют собой территории, уже брошенные цивилизацией, фактический суверенитет над ними был утрачен уже несколько десятилетий назад. Еще тогда для их удержания постиндустриальному обществу не хватило духовных сил — теперь их не хватает и по-прежнему.

Итак, трофеи не нужны в этой войне. Более того, они выполняют роль ловушек: стоит позариться, пожелать овладеть — и поражение неминуемо. По-настоящему имеют значение только пленные, причем сдавшиеся в плен добровольно — *пленные*. И по этому важнейшему критерию соотношения потерь за последние десятилетия явно не в пользу вещеглотов. Конечно, время от времени раскаивающиеся нестяжатели в одиночку и небольшими группами возвращаются в лоно цивилизации. Но, во-первых, среди них решительно преобладают те, кто решил уйти на покой. И это очень характерный момент, ведь тем самым общество потребления невольно обнаруживает свою глубоко скрываемую сущность — быть местом у(с)покоения, кладбищем и домом престарелых по преимуществу.

А во-вторых, пополнение нестяжательских рядов, так сказать ежегодный прирост дезертирующих с Острова Сокровищ, превышает естественную убыль во много раз. Пленные, пленные азартом бытия-поперек, выбирающие свободный полет, пусть даже с переходом в свободное падение, приходят из всех социальных слоев без исключения. Пока мировая война за человеческие души идет успешно для нестяжателей.

Но толоконный лоб еще крепок.

Еще в самом начале столетия бланкисты перешли к активным антипотребительским акциям, направленным на разрушение алтаря польздоприношения (товаропроизводящей сберегающей экономики). В этих отдельных сражениях и целых кампаниях проявляется воистину неистощимая изобретательность. Бои на экономическом фронте идут с переменным успехом, но, похоже, теоретикам, так же как и капитанам экономики, удалось все же объяснить, что логика эквивалентных обменов не так уж и логична. И во многих узких местах достаточно уязвима.

Свежа в памяти оригинальная и прекрасно сработавшая идея японских макаси с *именными деньгами*. Ее придумали ребята в Иокогаме, где разработка и была впервые применена (хотя бланкисты предлагали Хиросиму), после чего практика именных денег распространилась по всей Японии, а затем вышла и за ее пределы. Замысел был прост, как все гениальное. Обитатель джунглей приходил к работодателю с пачкой «именных денег» — чаще всего листков, вырванных из блокнота и снабженных автографом, — и говорил примерно следующее: «Вот вам мои денежки, бакалейщик-сан (брокер-сан, расклейщик-афиш-сан, метрдотель-сан), вы будете платить мне их за работу, если мы с вами договоримся. Я берусь выполнять все ваши поручения в пределах разумного, а в конце недели получаю одну-две из моих купюр -в зависимости от того, насколько удовлетворит вас моя работа. Никаких других расходов от вас не потребуется».

Подавляющее большинство работодателей поначалу отказывались: кому охота иметь дело с сумасшедшим? Но те, кто согласился, не пожалели: парни и девушки работали исправно, можно сказать в охотку. Как правило, рабочий день был весьма сокращенным — но ведь совершенно бесплатным... Не тратя ни единой иены, работодатель получал качественные товары или услуги (правда, слово «товар» в этом контексте изначально вызывало сомнения). Но и вольные нестяжатели получали свое. Во-первых, не слишком обременительное, порой даже интересное занятие, во-вторых — ожидание эффекта масштабной диверсии, когда вещьелоты наконец поперхнутся от собственной жадности.

Так оно и случилось. Оплата именными деньгами быстро вошла в моду, расчеты в этой «валюте» стали использовать даже крупные фирмы, и вскоре на освобожденных территориях (в джунглях мегаполисов) появилось множество объявлений типа:

«Требуются на неполный рабочий день продавцы (сантехники, санитары, программисты, кассиры). Оплата именными деньгами».

Нужда в кредитных учреждениях стала постепенно уменьшаться, возникли и другие бреши в отлаженном денежном обращении. Впервые за полстолетия снизилась производительность труда — и далее все по цепочке, как и было задумано. Не прошло и пяти месяцев, как обрушилась иена. Все взломщики сейфов, вместе взятые, даже сработай они одновременно, едва ли смогли бы добиться подобного эффекта. Еще через три месяца экономика Японии оказалась на грани катастрофы. То есть вещьелоты «подавились», жирный кусок застрял у них в горле (именно так и говорил Ютака Эйто: «Рано или поздно жирный кусок застрянет у них в горле»).

Почин японских братьев быстро подхватили соседи — именные деньги стали «инвестироваться» в экономику Кореи, Гонконга, Австралии. Через год обвалы начались и в зоне евро. Цивилизация с трудом избежала кризиса,

подобного Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Для «оздоровления» экономики пришлось прибегнуть к беспрецедентному административному вмешательству государства: под угрозой огромных штрафов предпринимателям было запрещено принимать именные деньги и расплачиваться ими; в Японии, Корее, США и Турции за нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Вещьелоты отбили первую серьезную атаку, но с этой минуты нестяжатели не давали им уже ни минуты покоя. Мир воочию убедился, что человеческий дух, движимый свободой, может быть не менее изобретателен, чем дух, движимый алчностью.

Более или менее полный обзор диверсий против сберегающей экономики можно найти, например, в книге Юджина Стецински «Товарообмен и психозфрения». Есть и другие исследования, посвященные «фатальным тенденциям» в системе всемирного хозяйства. Но, как справедливо заметил Гегель, «из того, что нечто известно, не следует,

что оно уже познано». Попробуем задержаться на идее именных денег, поскольку она хорошо иллюстрирует современные принципы взаимоотношений попа и его работника Балды. Речь идет о конструировании и испытании эффективного оружия, превосходящего порядки симулякров, описанные в свое время Бодрийяром, — и эффективность оружия заключается прежде всего в абсолютной неожиданности направления удара.

Естественный ход вещей (гегелевский *Weltlauf*) приучает всех его субъектов, от индивида до имперского государства, к ожиданию постоянных подвохов со стороны друг друга. Ожидание редко оказывается напрасным, и на перекрестке «основных мотивов» выстраиваются прочные оборонительные рубежи, так называемые противообманные устройства, которыми снабжены важнейшие человеческие установления. Редуты противообманных устройств простираются от судов и тюрем до электронных паролей и клятв, при этом возможность «взлома» самых надежных замков и самых страшных клятв всегда остается. *Важно* другое — никакая попытка прорыва в этом направлении не застанет врасплох, а если эта попытка окажется удачной, ничего существенного в *Weltlauf* она не изменит. Знаменитая сентенция «ничто не ново под луной» относится именно к сфере проявления основных мотивов (социальных инстинктов). Поэтому корысть, честолюбие, жажда власти, наконец, собственно жлобство даже в своих запредельных формах не вызовут удивления и не обезоружат.

Напротив, всякое воздействие, мотив которого непонятен, может привести к непредсказуемым последствиям в любом направлении. Даже затянувшийся розыгрыш, в котором участвуют несколько лиц, способен свести с ума. Именно такое воздействие и оказывает бытие-поперек. Производя обесмысливание в самых незащищенных местах, оно сводит с ума или, по крайней мере, невротизирует классы и социальные институты.

Труд за именные деньги может служить ярким примером вторжения неведомого мотива, для которого не создано ни одного «противообманного устройства». Поэтому даже сравнительно ничтожная доля такого труда способна подорвать денежное обращение в рамках как минимум национальной экономики — и разрушения не ограничатся только денежным обращением. *Альтернативный кредит*, предоставляемый многочисленными потомками работника Балды, развращает homo oeconomicus по всем направлениям сразу. Во-первых, срабатывает принцип «дареному коню в зубы не смотрят», радикально меняется психологический микроклимат «производственных отношений». Сама технологическая дисциплина при этом, как правило, совершенно не страдает, ведь добровольец трудится в охотку, даже с азартом, к тому же он отвечает за свои «именные деньги» — в этом состоит принципиальное отличие от подневольного и вынужденного социалистического труда. Во-вторых, несмотря на целенаправленные усилия по созданию определенного продукта, слово «труд» в таком контексте приходится брать в кавычки, ведь дисциплина времени циферблатов не соблюдается, графики и расписания теряют свою принудительность, обретая форму подвижного соглашения. В результате провисают цепочки эквивалентных обменов, мотивация добросовестного труда перестает быть безальтернативной, а формулы классической политэкономии (включая знаменитую  $T - D - T$ ) теряют свою всеобщность.

Происходящее удивительным образом напоминает ситуацию, описываемую в рассказе Достоевского «Сон смешного человека», — только с противоположным знаком. Там во вселенную, никогда не знавшую обмана, вносится один-единственный квант лжи... Поскольку в этом странном мире отсутствовали даже простейшие противообманные устройства и не было сделано никаких профилактических прививок, возбудитель лжи, не встречая сопротивления, начал размножаться в геометрической прогрессии. Очень скоро эта вселенная оказалась парализована разрушившей все установления фальсификацией.

Вселенная вещьелотов, для которой *обмен обманом* является всеобщим фоном коммуникации и основой всех прочих обменов, не предоставляет рядовым лжецам особых шансов на успех. Квант лжи здесь исчезающе малая величина, привязка к основным мотивам выдает наивного лгунишку с головой, кем бы он ни был, попрошайкой или сенатором. В таких условиях только сверхобманщик, лучше всех имитирующий искренность и убежденность, способен на какое-то время нарушить эквивалентность обменов. Но и вклады сверхобманщиков в конце концов суммируются или взаимно нейтрализуются — все их провокации, даже самые грандиозные лохотроны, только подтверждают незыблемость ценностей вещьелотов.

Совсем другое дело — целенаправленные инъекции перпендикулярного бытия, против них нет прививок. Лаборатория боевых симулякров (ЛВС), созданная в Петербурге и возглавляемая самим Бланком, работает весьма эффективно, вбрасывая время от времени свои «программные продукты» в системы жизнеобеспечения потребительского общества, приостанавливая и нарушая «естественный ход вещей» (который, по мнению бланкистов, является абсолютно противоестественным). Деятельность ЛВС свидетельствует, что изобретатель мимигатора отнюдь не утратил своей изобретательности, хотя большинство специализированных боевых симулякров переводятся пока в стратегический резерв.

Полная растерянность жрецов вещьизма по отношению к инопланетным для них мотивам вроде массового избавления от покупок или всемирного конкурса бесполезных поступков (или тех же именных денег) является одной из причин успешного хода нестяжательских войн. Но не единственной и не главной причиной. Бланкисты отказались от огнестрельного и холодного оружия, равно как и от оружия массового обольщения, успешно применявшегося Голливудом на протяжении столетия. На сегодняшний день эти арсеналы устарели, в частности уже воины Халифата оказались неуязвимыми для обольщающих технологий поп-культуры, с презрением встречая предъявляемые им «картинки». Оружием дезертиров с Острова Сокровищ стала *мгновенная подлинность* — предъявляемый без промедления эталон иного бытия. Даже кратковременная очная встреча с теми, кто согласно пропаганде вещьелотов «оказался на обочине жизни» и «нуждается в помощи и сочувствии», быстро убеждает, что за пределами вещьизма живут — и прекрасно живут — вовсе не маргиналы-неудачники, а веселые, азартные, победившие скуку и инерцию люди. Они бездомны, безработны и беззаботны, но нисколько не терзаются по этому поводу. Воины, охотники, которым все в охотку, они влюбляются и любят, читают и слушают музыку, но главное — пребывают в непрерывном путешествии и Господь пребывает с ними. Непредвзятый свидетель, переставший быть совсем уж посторонним наблюдателем, быстро поймет, кто действительно нуждается в сочувствии и попечении. Уяснив это, он незаметно для себя попадает в плен. И даже если он возвращается потом «к своим баранам», душа его остается в плену. Вот как идут к победе нестяжатели. Но толоконный лоб еще крепок.

Отказ от трофеев не требует таких уж больших усилий, если иметь в виду материальные фетиши вещьизма, ведь равнодушие (как минимум) к приманкам и побудило когда-то покинуть Остров Сокровищ. Здесь тактика сводится к снабжению капканов собственными взрывными устройствами, «шутихами». Разбросанные приманки нанизываются на бикфордов шнур поперечного бытия — и взлетают в воздух лопающиеся пузыри грез. Грез бедных о богатстве и богатых о счастье. Подрывы на какое-то время сотрясают воображение даже подсевших на иглу шопинга и строителей домика Тыквы, самых преданных гвардейцев и телохранителей Гидры.

Дух предпринимательства поддается перевербовке, или, как сказал бы Фрейд, сублимации. Но именно шопинг и тыквостроительная аскеза исключительно устойчивы к

контрпримерам, они, как теперь выяснилось, и являются краеугольными камнями сберегающей экономики. Кум Тыква продолжает сопротивляться уже после того, как синьор Помидор сложил оружие. Есть две категории обитателей черты оседлости, которые редко сдаются в плен живыми: это неимущие стяжатели и их внешне более благополучные собратья, пребывающие в беспробудном запойном шопинге. Без их фанатической стойкости экономика пользоприношения уже прекратила бы свое существование, ведь сама по себе предприимчивость, соединенная с жилкой авантюризма и азарта, вполне способна увлечь субъекта туда, где уровень азарта и непредсказуемости на порядок выше. Трудно удержаться от вывода, что из всех форм стяжательства, из всех, так сказать, штаммов этого непрерывно мутирующего вируса самой неисцелимой и непросветляемой болезнью является полубессознательное, всепроникающее жлобство.

По существу, единственной эффективной мерой противодействия жлобству является прививка, совершаемая в раннем детстве. Выступая в Подвесном университете, Колесо однажды сказал:

*Хайдеггер что-то там писал про бытие-к-смерти... да и многие мыслители рассуждали о человеческих страхах и печалях. Но я вам объясню, что такое настоящая горечь, как я ее понимаю. Это когда попадаешь вдруг в дом к этим... как их там... к кусочникам. Ну, которые за копейку удавятся. И допустим, садишься с ними пить чай или водку, а они рассказывают, как их кинули, — чуть ли не со слезами бессильной ярости, — о том, как им где-то чего-то недодали. И о том, как они кого-то кинули — выгадали копеечку, втоптав в грязь. Это уже с радостью, потирая руки и хихикая. Ну вот, дело привычное, что еще ждать от вещьелотов.*

*Но ты смотришь на их деток: светлые глаза, белобрысые головки... Да, эти кусочники, кстати, всегда орут на детей... Их жизнь еще может вспыхнуть как фейерверк... казалось бы... Но ты заглядываешь в эти ясные очи и понимаешь... и видишь, что через пятнадцать-двадцать лет тебя встретит бесцветный взгляд жлобья. Они уничтожат детей, превратят их в такое же жлобье.*

*Это я называю горечью. Я уж давно не попадаю к кусочникам, не пью с ними ни чаю, ни водки — но горечь неизбывна. Я ведь человек не сентиментальный, вы знаете. Но я воин уже двадцать лет. И я знаю, для чего я веду свою войну. Для того, чтобы прекратить ежедневный Освенцим детских душ.*

Действительно, если можно говорить о наследственных социальных инстинктах, то жлобство — один из них, и этого уже достаточно, чтобы согласиться с бланкистским тезисом

о противоестественности сложившегося хода вещей. Подобно тому как в «Государстве» Платона решающая роль принадлежит педагогике (точнее говоря, «пайдейе»), нестяжательская утопия тоже рассматривает «вакцинацию» формирующихся душ как самый надежный способ противостоять распространению вирусов алчности, жлобства и крохоборства. Увы, возможности здесь не слишком велики. В питерском Подвесном университете, конечно, «ведутся исследования», энтузиасты даже создали аналог скаутской организации, и прохожие нередко могут услышать, как юные беспризорники, чем-то действительно похожие на советских пионеров двадцатых годов, распевают свои речевки:

Взвейтесь кострами, мрачные сквоты,  
Клич нестяжателя нынче суров:  
К нам, утомленные тяжелой работой!  
Прочь, сникерснутые дети жлобов!..

Но всякая принудительная организованность, превышающая уровень flash mob, плохо сочетается как с целями нестяжательского движения, так и с самой практикой обитания в джунглях и прериях. Действительный путь инициации совсем другой. Никто не движется рядами и колоннами, каждый сам совершает выбор: «утомленные тяжелой работой» для начала переходят к сочувствующим, а беспризорники, которых немало в джунглях мегаполисов, становятся юнгами, а затем *дорастают* до воинов, вождей племен и вознесенных. Или сдаются в плен стяжателям, покупаясь на какое-нибудь ипотечное тыквостроение, что тоже бывает нередко.

В сущности, рецепт противодействия потребительскому фетишизму с раннего детства хорошо известен: это максимально возможное попустительство детским желаниям с одновременной их селекцией. Ведь наряду с детским эгоцентризмом, описанным еще Пиаже и безусловно благотворным в определенном возрасте, существуют мощные спонтанные нестяжательские желания: тратить, раздаривать, радоваться вещи, а не владению ею. А как прекрасна детская беззаботность в отношении того, кому принадлежала вещь вчера и кому она будет принадлежать завтра! И здесь подвеска является могучим воспитательным средством — прежде всего в воспитании самих воспитателей. Драгоценная беспечность, неомраченность присвоением витает в самом воздухе, которым дышат общины, коммуны и племена. Эта *атмосфера* влияет, конечно, на воспитание детей даже

в самых неблагополучных семьях. Но родительская любовь, свободная от мутаций стяжательства, встречается по-прежнему редко, так же как и любой другой дар.

Колесо — поэт, художник и воин — сгустил краски. История, в том числе и новейшая история, показывает, что в любой среде может сформироваться светлая и легкая душа будущего нестяжателя, иначе откуда бы появились все эти люди, зачинатели нового витка антропогенеза. Многие, а иногда и самое существенное свершается в человеческом мире в знак протеста. Это добрый знак, и его влияние, к счастью, превышает влияние всех знаков зодиака.

Каждое из направлений движения по-своему решает проблему пополнения. Бланкисты, рискарбайтеры, растаманы Карибского бассейна, новые ацтеки Мехико и руги

Бенилюкса, сотни общин, коммун, племен выработали свои обряды инициации от чисто символических до весьма жестких, не уступающих архаическим инициациям (как, например, у льянос Сантьяго). Есть и общие черты, среди них — уважение к детству, нежелание расставаться с ним окончательно. Это момент принципиальный и в каком-то смысле теоретически обоснованный. Вот что пишет антрополог Сьюзен Обридж, вознесенная из племени хеллвудов в Лос-Анджелесе:

*Детство, помимо всего прочего, это еще и полнота возможностей. В свое время в ходе антропогенеза именно сохранение разброса вариантов поведения (гибкость реакций) позволило некоторым приматам лучше других справиться с меняющимся миром. Они смогли избежать специализированных фиксаций, после которых ничто подлинно новое уже не может внедриться в жизненный мир. Те виды, которые пошли по пути специализации (по самому экономному, надо признать, пути), конечно, «облегчили себе жизнь», оптимально вписавшись в одну-единственную экологическую нишу, но закрыли себе ворота разума, способность перемещаться по всем экологическим нишам, пробуя себя в них. Такое, например, был «выбор» гигантопитеков, подчинившихся жесткому специализированному отбору и нарастивших огромные челюсти. Эти создания сразу получили, так сказать, ситуативные преимущества, но они вымерли вслед за исчезновением единственно благоприятной для них экологической ниши. Их погубила роковая специализированность, подчинение первой попавшейся экономичности.*

*Долгое детство человеческих существ, чрезвычайно губительное с точки зрения всех законов Дарвина, с точки зрения всех известных нам принципов доразумной организации, есть величайшее достояние человека. И если взять уже собственно человеческую историю, то чем ближе к элите, к сословию господина находится ребенок, тем более долгое детство ему гарантировано. Высшим кастам доверяется блюсти высшие ценности. А если мы обратимся к стандартной разметке пространства архаических социумов, мы увидим, что для каждого индивида там есть специализированная ячейка, где (в которой) ему предстоит быть. За каждой ячейкой закреплена особая, достаточно подробная программа, включающая в себя даже программу самочувствия для того, кто в эту ячейку попадает. Этим снимаются огромные трудности и неопределенности выбора. Но одновременно снимаются и возможности развития, то есть опасного, непредсказуемого пути.*

*В дальнейшем эти простые, экономные матрицы преобразуются в более сложные кастовые системы, выполняющие ту же задачу предопределенности судьбы смертного существа — по возможности, с раннего детства. Великие исторические прорывы обязательно связаны с отменой жесткого расписания, с массовым возвращением к ситуации детства, может быть, условного детства. Подобный прорыв, или побег, совершили когда-то греки, убежавшие от гиперспециализации и потом строго следившие, чтобы корзина шансов была предоставлена каждому свободному гражданину. Для предотвращения специализации существовали даже принудительные меры: замещение должностей по жребию, насмешки над теми невеждами, которые «не умеют ни читать, ни плавать», то есть получили одностороннее, рабское воспитание. Вот и Сократ вынужден был исполнять руководящие функции, когда пришел его час... Нет сомнений, что своими достижениями античная Греция в большой степени обязана принципиальному уклонению от необратимой специализации. Это прекрасно понимал Аристотель, говоря, что философия есть производная досуга.*

*Современные нестяжательские общины, их культура и само их бытие реализуют на новом уровне ту же идею, которую с блеском реализовала античность, — идею*

*вернуться к развилке и отменить примитивную специализацию воли. Тем более что гигантопитеки алчности, натасканные на приношение пользы, окончательно утратили способность оглядываться по сторонам. Может быть, поэтому их огромная ниша сжалась до размеров коридора и они не распознают никаких вызовов, кроме тех, что обусловлены стремлением к наживе.*

Обридж, конечно, права в определении едва ли не важнейшего преимущества нестяжателей. Они дезертируют как раз к той развилке, где еще возможно ситуативное обладание вещью, где занятие, которое ты однажды выбрал, никто не навязывает тебе пожизненно. И ты не должен быть рабом того, что у тебя лучше всего получается. Мало ли что может оказаться лучшим с точки зрения пользы, надо еще доказать, что сама эта точка зрения является безусловно лучшей. А сделать это можно только под гипнозом, точнее говоря, в результате массового наваждения.

Кстати, и Маркс связывал коммунизм прежде всего с устранением разделения труда. В основе протеста молодого Маркса лежало как раз негодование по поводу обреченности человека на монотонный однообразный труд, что наносило непоправимый ущерб человеческой сущности, превращая субъекта в инструмент. Обвинение в адрес капитализма, можно сказать шире — в адрес частной собственности вообще, было связано с манией эффективности, с тем, что ускорение производства вещей (товаров), то есть рост производительности труда, служило критерием для отбора рабочей силы. Все прочие качества «рабочей силы» рассматриваются как факультативные, как своего рода ребячество, потеха, хобби, — и ценность человека определяется по шкале профессиональной эффективности, с точки его способности создавать общественно признанный продукт. В противовес этому Маркс выдвигал идею сущностной самореализации человека, что обязательно включало в себя разнообразие занятий. Если дать кратчайшее определение коммунистического труда (а не его фальсификаций), то оно будет звучать так: *землю попашет, напишет стихи...* Подобную свободу занятий неловко называть даже «трудом» — речь может идти непосредственно о человеческой деятельности или, если угодно, о подлинном способе проявления человеческого в человеке.

В дальнейшем, начиная с момента работы над «Капиталом», Карл Маркс уже рассматривал рост производительности труда как основной критерий смены формаций, как бы «устыдившись» своей ненаучной мечты. Теперь он обвинял существующее положение вещей в том, что оно тормозит этот самый рост, видимо, полагая, что ближайшие столетия человечество сохранит одержимость фетишем производительности труда. Сам одержимый идеей «научности», притом в позитивистском, свойственном XIX веку смысле этого слова, Маркс решил, что пролетариату стоит сделать ставку на критерий исторического прогресса, иначе у него нет шансов стать господствующим классом. И все же создатель исторического материализма не уставал напоминать, что пока мы имели и имеем дело лишь с «предысторией», а настоящая история человечества начнется лишь тогда, когда победивший пролетариат устранит разделение труда и отменит действие сил отчуждения, заставляющих уподобляться специализированному инструменту.

Что ж, дезертиры с Острова Сокровищ, сформировавшие новый класс, а в перспективе и новую антропогенную общность, это и есть победивший пролетариат. Меньше всего они похожи на эффективные инструменты пользоприношения, их занятия непринужденны и воистину разнообразны. Выяснилось, что для обретения коммунизма ничего такого не надо «строить» — ни домика Тыквы, ни коллективного овощехранилища. Зато кое-что разрушить необходимо. А именно — надо разрушить в себе блокировку, замыкающую полноту и непосредственность детства и оставляющую лишь режим



мономаниакальной серьезности занятий «настоящим делом». Все предыдущие попытки *строительства коммунизма* закончились провалом уже хотя бы потому, что само понятие «строитель коммунизма» включает в себе противоречие. Путь к коммунизму лежит не через строительство, а через раскрепощение, и нестяжатели впервые проделали этот путь. Теперь они защищают свой коммунизм от сплоченного интернационала жлобов и вещеготов.

Вопрос о борьбе за политическую власть все еще не снят с повестки дня племен и коммун. Бланку, самому решительному противнику втягивания движения в политику, приходится почти на каждом съезде вновь и вновь отстаивать свою позицию. Показателен в этом отношении разговор, состоявшийся два года назад в Париже.

*БЛАНК.* ...Согласившись играть по их правилам, мы упустим свое главное преимущество и повторим ошибку всех революций. Роковую ошибку, ведущую к перерождению. Если птица, вырвавшись *на свободу*, возвращается, чтобы благоустроить клетку...

*ГОЛОС.* Почему же ты не веришь, *Бланк*, что мы сможем эффективно защищать свои интересы, пользуясь *их* политикой?

*БЛАНК.* Да уж, кто только не повторял эти слова за последние триста лет. Я не собираюсь вдаваться в казуистику. Не собираюсь даже отвечать *тем, кто попытается* доказать, что *бывает* политика хорошая и плохая. Единственный аргумент, который можно было бы принять к рассмотрению, это, если хотите, *аргумент* увлекательности. Мы сейчас в городе, где политические игры всегда были национальным видом спорта. Парижане понимали *толк в хорошей политике* примерно *так*, как англичане в гольфе. Я не имею в виду всякие *балансы* интересов, брифинги или электоральные заморочки. *То есть* не имею в виду занятия для маразматиков, которым удалось в свое время загипнотизировать мир. Я имею в виду экшн. То есть прямое действие. Ну, скажем, когда парижане в очередной раз разрушат свою Бастилию, воздвигнут баррикады или разобьют все цветочные горшочки в коридорах Сорбонны, а потом годами немцы воюют с русскими, подданные какой-нибудь Австро-Венгрии, узнав, что суверенитет — это самое модное парижское блюдо, начинают за него бороться, на Балканах появляется мечта о собственном флоте, и снова немцы воюют с русскими... Это, конечно, круто. Такой экшн мне грезился в юности, я бы и сейчас от него не отказался.

Но есть несколько причин, по которым даже самая качественная парижская политика (цветные революции недавнего прошлого были жалкими подделками под нее наподобие польских имитаций французской парфюмерии) больше не проходит. Во-первых, бесстрашные, как львы, парижане все еще думают, что им сам черт не брат, но уже давненько строят баррикады в форме полумесяца — так, на всякий случай. А пламенные ораторы, взобравшись на импровизированную трибуну, первую минуту мнутя: вроде хорошо было бы встать лицом к Мекке, но при этом так, чтобы совсем уж не повернуться задницей к Эль-Синору... И только сориентировавшись на местности, они произносят свои ниспровергательные речи.

А во-вторых, друзья мои, амуниция как-то пообветшала. Фанфик и то покруче будет, не говоря уже про наши всполохи flash-мобилизаций.

*РАСТА ДУСУ.* Это точно, Бланк. И калифорнийские хеллвуды, и растаманы всей Америки давно уже забили на политику. Куда ни глянь — полный отстой.

*БЛАНК.* Ваши ребята, раста, классно работают над новой иллюминацией мира.

*МИШЕЛЬ ТЮ.* Но можно ведь очистить ряды от коррумпированных...

РАСТА ДУСУ. Нельзя, джа. Нельзя очистить говно. Можно только очиститься от говна.

БЛАНК (*выждав, пока утихнет смех и шум*). Еще ни одна тема не вызывала у нас столько споров, и мне нелегко найти новые аргументы. Может быть, я повторюсь: оставьте банки банкирам, фабрики фабрикантам и конгрессы конгрессменам. Оставьте им эти побрякушки. Оставьте кесарю кесарево и предоставьте мертвым погребать своих мертвецов. Ну пусть дети играют в своих песочницах и делают куличики, а маразматика пусть играют в своих парламентах и делают законопроекты. Неужели нам, жизнью живущим, нечем больше заняться?

Петербургский Подвесной университет сегодня уже не единственный, возрождается практика греческой перипатетики. А опыт нового воздухоплавания? А восстановление естественного хода вещей? Те, кто считает нас чужаками и вырожденками, сами давно превратились в гомункулусов.

РЕПЛИКА. Не забудь добавить, Бланк, что толокенный лоб еще крепок...

Враждебность старого истеблишмента и еще большая нетерпимость теневых властей Халифата к дезертирам с Острова Сокровищ вполне объяснима. И те и другие видят безусловную для себя угрозу в ширящемся движении. Зато причины тотальной враждебности криминала не столь очевидны. Если рассуждать отстраненно, на уровне абстрактных условий задачи, можно было бы предположить, что расцвет жизни в городских джунглях станет великолепной питательной средой для преступности. Так ведь поначалу и было — но как раз до тех пор, пока не начался расцвет.

Эта история интересна и поучительна. Экологическая ниша бродяг, бомжей, «кусочников» фактически подверглась нашествию могучих сил, притом еще одухотворенных Идеей. Переселенцы с несокрушимой волей шли туда, где не было ни малейшего шанса на успех. И направлялись они не на экскурсию, а на свою новую родину. Их отношение к аборигенам было несравненно мягче, чем отношение к индейцам покорителей Дикого Запада, и все же привычки и повадки коренных обитателей были решительно отвергнуты, повлияв скорее на стилистическое оформление жизни, чем на ее содержание.

Совокупный криминал поначалу очень обрадовался внушительному пополнению: вот они идут, рядами и колоннами, будущие наркодилеры, бандиты, шантажисты да и просто прекрасный материал для рэкета... Разумеется, «присматривающие» за труппами тут же попытались взять дезертиров в оборот. Сказать, что их при этом постигло разочарование, — ничего не сказать. Случившееся можно охарактеризовать как катастрофу для прежнего преступного мира, заставившую криминал «бросить» джунгли и прерии, как уже прежде это сделали представители истеблишмента и соискатели успеха.

Первым же сбоем стало полное безразличие нестяжателей к привычной мотивации уголовного мира. Покинувшие Остров Сокровищ отнюдь не испытывали ностальгии по его сказочным пещерам; вполне возможно, что, уходя, многие из них говорили: «Сезам, закройся!» Уголовники, независимо от того, пребывают ли они в тюрьме или на свободе, все равно остаются пленниками, служащими идолам этого острова, они отличаются от тыквостроителей главным образом неспособностью к систематическому пользоприношению. Общая схема встречи бандита с нестяжателем напоминает вариацию на тему Господина и Раба. Бандит, оказавшийся после вымирания аристократии единственным наследником гегелевского господина, тоже реализует две стратегии поведения. Встречаясь с равным себе, он вступает в схватку, заканчивающуюся гибелью одного из участников или некой формой взаимоуважения —

паритетом. Правда, в отличие от прежнего господина сомнительный наследник в результате этой схватки частенько разоблачается как самозванец и с позором переводится в рабское сословие. Встречаясь с носителем рабского сознания (и, в частности, жлобского сознания как его важнейшей разновидности), господин бандит требует «жизнь или кошелек» — и получает причитающийся выкуп, иногда впрочем, даже не успев его потребовать. Вмешательство закона осложняет картину, но не меняет ее в корне.

Столкновение с нестяжателем обесмысливает обе стратегии, чем-то опять же напоминая встречу завоевателя с аскетом. Аскет в упор не видит угрозы, а требование «поделиться» застревает у господина на языке. Чем делиться, акридами, что ли? Как мы помним из Ницше, в такой ситуации господин испытывает экзистенциальный кризис, поскольку внезапно понимает, как мало у него силенок пред лицом воочию явленной силы. В действительности, конечно, схема не совсем такова: напрямую с аскетами можно соотнести лишь отказников и вознесенных, да и воины племен не уступают по своей витальности самым отчаянным бандитам (чего стоят отряды Бланка!). В джунглях и прериях живут отнюдь не кроткие овечки, столкновения как со стражами закона, так и друг с другом случаются то и дело, но о прежнем криминально-феодальном разделении сфер влияния не может быть и речи. Территориальные споры между уличными бандами ушли в прошлое, для вольных странников урбанистические джунгли любого мегаполиса вполне проницаемы и гостеприимны, и десятки тысяч потомков Марко Поло путешествуют сегодня по планете, как по своей *Внутренней Монголии*.

Стало наконец ясно, что прежние преступники ничего такого серьезного не преступали, для нестяжательских общин они находятся по ту сторону черты оседлости, там же, где и законопослушные граждане. Только покинувшие Остров Сокровищ преодолели, преступили неприступный вал, отделяющий разметку привычного хода вещей от свободного самоопределения. Традиционные криминальные элементы — это всего лишь «доступники», пытающиеся проскользнуть без очереди в земной потребительский рай на самых охраняемых участках, в точках пересечения основных мотивов. Они узники порядка, заключенные в капсулу польздоприношения.

Еще социологи начала XX века (в частности, Зомбарт и Дюркгейм) заметили, что уголовный мир является активным участником эквивалентных обменов, обеспечивающих воспроизводство основных условий существования общества. Криминал перераспределяет потоки материальных благ, претендуя на то, что (на первый взгляд) им не полагается с точки зрения всеобщего эквивалента. Но это только на первый взгляд. В действительности предъявляемые претензии подтверждают ценность всех фетишей общества потребления. Незаконные претенденты создают стоимость, решительно подчеркивая, что оцениваемые в обменах ценности *действительно стоят* того, чтобы к ним стремиться. Очень важен здесь размер ставки: преступники рискуют репутацией, свободой, а то и жизнью, и как раз этот риск повышает общую стоимость товарной массы. Вопреки представлениям Адама Смита и его последователей товарную стоимость, способную активировать великую силу алчности, нельзя создать исключительно будничным, рутинным трудом. «Будничная стоимость» окажется слишком низкой, если не прибавить к ней вклада, вносимого совокупным преступным промыслом. Кража такой же акт наделения стоимостью/ценностью, как и акт производства вещи. Можно говорить об экстраординарном измерении стоимости, но без такого измерения интенсивность обменов падает, создавая серьезнейшие проблемы для экономики. Если представить себе общество, в котором нет угрозы воровства (достаточно взять любую нестяжательскую коммуну), сразу окажется, что товары не имеют здесь той ценности, которую придает им наличие этой угрозы. Впрочем, коммуна служит еще более общим примером, поскольку в ней отсутствует собственность. Поэтому стоимость в прежнем

смысле слова тоже отсутствует, вещь начинает чего-то стоить лишь тогда, когда ею стоит заняться, — такова, к примеру, ситуативная стоимость машинки для стрижки волос, заинтересовавшей Мура.

Кроме того, преступник выступает одним из главных работодателей (что зафиксировал, в частности, и Эдуард Лимонов в своих тюремных записках): он обеспечивает работой персонал тюрем и полицию, сторожей и вахтеров, судей и журналистов — что бы они все делали, не будь у них такого надежного и щедрого работодателя? Какую такую они приносили бы пользу, если бы не нарушители закона? Следовательно, уголовник не просто полноправный участник товарообмена, он, пожалуй, один из главных участников, и, как говорил еще даосский философ Ян Чжу, «своим благополучием нынешнее общество обязано Большому Вору».

Новые формирующиеся социальные общности не размещают своих заказов ни в структурах бизнеса, ни в госструктурах. Тем самым они не просто не приносят пользы, но и обесмысливают большую часть пользы, приносимой другими. Колесо недавно заметил: «Мы еще увидим, как разные милиции-полицейские создадут специальные службы по охране и поощрению мошенников. Их заставит сделать это борьба за существование».

Понятно, что и отряды Бланка, и другие общины находятся в постоянном конфликте с законом, но это противостояние несколько не похоже на взаимодополнительные отношения традиционных преступников с внутренними органами. Суть всех конфликтов сводится к тому, что ограничения свободы, привычные для заключенных в черте оседлости, не признаются дезертирами с Острова Сокровищ. Если оставить в стороне разные мелочи вроде подвесного наркотрафика легких наркотиков (оборот наркоторговцев в черте оседлости несравненно больше), основным «недоразумением» окажется принципиальное уклонение нестяжателей от всяческих регистраций. Живущие в джунглях не спрашивают друг у друга документы: удостоверения личности здесь являются не бумажки типа паспорта, а слова и поступки этой самой личности. Поэтому личность в коммуне или племени по-настоящему достоверна, а не просто удостоверена. Бланкисты решили для себя этот вопрос с самого начала. Обратимся к тексту.

БЛАНК. Вдумайтесь, как это, в сущности, нелепо: тебя просят удостоверить свою личность, а ты протягиваешь в ответ какую-то бумажку. Какое отношение имеет написанное в этой бумажке к твоей личности, к твоей человеческой сущности? Раз уж мы решили сами распоряжаться своей жизнью, никто не запретит нам распоряжаться и собственным именем. А что имя? Оно может точно так же надоесть, как и однообразное занятие, — я бы даже сказал, что однообразие пожизненного имени предопределяет однообразие самой жизни.

Мы выступаем за отмену пожизненных приговоров. В нашей борьбе с собственностью мы делаем важное исключение, направленное на исправление противоестественного хода вещей. Исключение касается *имени собственного* — его мы и передаем в полную собственность владельца. Каждый вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Как это ни парадоксально, но вещьелоты, очерчивая где только можно границы своей собственности, именем собственным как раз и не располагают, их имя — собственность государства. Все обыватели носят с собой бумажки, на которых написано, что они — зарегистрированная собственность Монстра. Что ж, и нам приходится пока держать для них такие бумажки, однако вовсе не обязательно подчиняться правилам, согласно которым бумажка должна всегда быть одной и той же. Мы не фетишисты. Эти фантики нужны нам только как пропуска, чтобы пройти туда, куда

нам хочется. Зачем же нам привязываться к бумажке, по которой не пропустят в то место, которое интересует нас именно сегодня?

ЛЕВА ТИГР. Бланк, за подделку документов могут и срок дать...

БЛАНК. Захотят — дадут срок за *что* угодно, сам знаешь. Но речь не об этом, мы ведь можем меняться документами так же, как и вещами. Я, кстати, очень рад, что этот вид обменов *стал полноценной частью* подвески у нас в Питере. Допустим, твоему удостоверению причитается что-то такое, что тебе самому *сейчас не нужно*: почему бы не поступить с этой бумажкой так же, как и с прочими вещами? Я вам скажу: это здорово расширяет возможности свободной жизни.

Все в истории когда-нибудь делается впервые. Вот мы в число даримых подарков и разных одолжений вводим имя. Почему бы не дать в долг имя?

ЛОБСТЕР. А вдруг оно от этого пострадает? Вдруг его вернут испорченным?

БЛАНК. Вполне возможно, куртку тоже могут вернуть с оторванной пуговицей, но нормальному человеку не к лицу такие опасения. Конечно, если приговорен к одному-единственному имени, то страшновато. Если же нет, то обмен именами больше похож на обмен опытом — очень обогащает, кто не пробовал, рекомендую.

ГЕЛИОС. Ты прав. Я вот в детстве часто думала: как жаль, что нельзя меняться телами. Не насовсем, конечно, а на время... А то живешь все время в одном доставшемся тебе теле... Или нет, не так: живешь одно это тело так, что надоедает, а ведь хочется и другим телом пожить, и каким-нибудь третьим. Новые впечатления... А потом получаешь свое тело назад, а в нем тоже осели новые впечатления, ты к ним примериваешься, знакомишься с ними.

ШВЕД. Точно, Парящая. И мне всегда чего-то такого хотелось. Только я думал... хотя я и сейчас так считаю, что есть *внутреннее тело*, которое обращено к тебе самому, и внешнее, обращенное к другим. Внутреннее тело я бы никому не отдал, а вот внешним с удовольствием бы обменивался.

ГЕЛИОС. А к внутреннему телу можно подключаться через внешнее. По-моему, это и называется любовью. Тоже своего рода способ меняться телами — способ, доступный всем и уж тем более нам. А если рассуждать в этом духе дальше... если бы мы могли меняться и внутренними телами, то познали бы любовь, которую знает один только Господь.

ЛЕВА ТИГР. Ага. Расчувствовались. У меня конкретное предложение: тела, предназначенные для обмена, можно было бы подвешивать. Выходишь утром на улицу, а они висят с высунутыми языками...

РЕПЛИКА (*сквозь смех*). Ну да, перевязанные черной **ленточкой**.

БЛАНК. Наверное, многим из нас хотелось бы чего-то подобного. Может быть, это тоже одна из причин, почему мы здесь... и прилепились друг к другу.

Нам, наверное, близка, если можно так выразиться, коммунистическая чувственность — в изначальном смысле, как у Маркса. Маркс в юности интересовался Эпикуром и греческими атомистами, а у них была теория истечения тел. Античные атомисты думали, что чувственность располагается не внутри, а возникает в зоне контакта. Ну, скажем, мы встречаемся взглядами, и эта встреча не так уж принципиально отличается от соприкосновения. То есть наша настоящая телесность простирается по крайней мере до точки пересечения взглядов — наверное, можно говорить о коммунизме на уровне чувственности.

ЕВА КУКИШ. Как Фуко говорил о политике тела?

БЛАНК. Не знаю... Скорее как Андрей Платонов — перечитайте его «Чевенгур» да и другие вещи... Там описывается опыт обобщенной чувственности: чевенгурцы «обмениваются веществами жизни», поддерживают дыхание друг друга. А протест

пролетариев против буржуазности — это ведь прежде всего протест против приватизации телесности. Платонов очень хорошо показал, что значит чувствовать по-коммунистически. Вообще, «классовое чутье» это не просто метафора, даже в негативном смысле отчуждение именно «испытывается» как лишение индивида причастности к коллективному телу.

ГЕЛИОС. Христианское причастие, по-моему, еще раньше устанавливает такую причастность. Кстати, каждому из нас подобная чувственность так или иначе знакома, а цветные ленточки тоже не просто метафоры — они ведь те самые узы. Как говорится, узы дружбы и братства. Может

БЛАНК. Конечно, Парящая. Ведь мы и стихийно, и сознательно пытаемся устранить все ограничения обменов, а из них самое главное — принцип товарно-денежного эквивалента. Этот эквивалент показывает, чего и сколько тебе положено, провозглашая: больше ни-ни! Что-то напоминающее паек в камере. Ну, от пайкового распределения мы вроде бы ушли. Но ведь привязка к документу тоже паек, тебе вырезают определенный кусочек жизни... или пускают как крысу в лабиринт, чтобы ты испытывал *повороты судьбы*, утыкался в жизненные тупики. Выданный тебе документ надежнее всего определяет потолок твоих возможностей. Заметим, однако: законопослушные обыватели даже и не пробуют разобрать потолок, предпочитая биться о стену. Но вольные странники обнаружили, что перекрытия бумажных предписаний не так уж и сложно обойти или разобрать.

Для начала, конечно, следует изучить повадки тех, кто бумажки выписывает, рассматривает, сличает и зарабатывает этим себе на жизнь. Мы сразу же фиксируем зацикленность всего миллионного полчища контролеров на совпадениях. Им непременно нужно, чтобы фотография совпадала с фамилией, фамилия с подписью, а сегодняшнее предъявление бумажки со вчерашним. Если все это совпадает, они удовлетворенно кивают головой: дескать, иди! Или, наоборот, почему-то определяют: стой, тебе туда нельзя! Если в этот момент взглянуть в их самодовольные рожи... они ведь уверены, что знают о тебе все, во всяком случае все, что следует о тебе знать. Хотя, если разобраться, дети, собирающие фантики и рассматривающие свою коллекцию, получают, пожалуй, более достоверное знание.

КРОТ. И я всегда этому поражаюсь. В смысле, этому странному занятию, взрослым играм в фантики. У меня вот есть один хороший паспорт такой. (*Видимо, показывает паспорт.*) Я тут с затылка сфотографирован. Да. А остальное как полагается: печати, гербы, штампы, букочки. Ребят попросил, они сделали. В общем, я частенько с этой штукой развлекаюсь. Подходишь, например, к какому-нибудь казенному дому — а почти в каждом казенном доме есть свой придурок, который такие бумажки рассматривает. И для этого даже специально делает умный вид. И я ему, допустим, предъявляю. Отстало быть, смотрит на мой сфотографированный затылок, а я на его рожу.

ГОЛОС. И что, пропускают?

КРОТ. Редко. Но удовольствие получаю. Тут важно, чтобы все было на полном серьезе — при галстукке, в пиджаке... ну, как это принято у жлобов, особенно если они начальники. Я вам скажу, бывает много оттенков удовольствия... иногда, знаешь, просят затылком повернуться.

БЛАНК. Все мы по-своему практикуем бытие-поперек и понимаем в этом толк. Беда, однако, в том, что мы живем в обществе любителей фантиков, а активисты этого общества ревниво преследуют тех, кто к их фантикам равнодушен. Нам, увы, пока приходится считаться с такой формой коллективного помешательства, но вы знаете, что все общины ведут борьбу с фетишизмом удостоверений и прочих «записей гражданского состояния».

Вообще-то люди наших отрядов предпочитают удостоверять свою личность через граффити — это, наверное, ближайший аналог *казенных* паспортов. Но аналог совсем не казенный — ведь каждому ясно, что надпись на стене, выполненная в соответствии с движением души, говорит о человеке куда больше, чем подпись на прикрепленном к нему ярлычке, сделанная каким-нибудь уполномоченным общества любителей фантиков.

Граффити может рассказать о предпочтении человека, о его биографии. Сходите в Промзону, в Трансвааль, да зайдите на любую *территорию*, и настенная живопись лучше целого пакета фантиков...

ГОЛОС. Да знаем, Бланк, мы же там живем. Эти рисуночки, автографы... они ведь живые. Паспорт полная противоположность — прижизненный гроб.

БЛАНК. Отлично сказано. Рано или поздно мы добьемся отмены принудительной паспортизации. Но пока будем обмениваться этими фантиками, как обмениваемся прочитанными текстами или музыкой, которая нам понравилась, — всему свое время.

ШВЕД. Слушай, Бланк, правду говорят, что ты взял себе такой ник, чтобы показать, что к любым удостоверениям нужно относиться как к бланкам: что захотел, то и написал?

БЛАНК. Говорят и другое. Кстати. Ник я, может быть, и поменяю, если позволите.

ШВЕД. Как раз для тебя, Бланк, это будет затруднительно.

Чтобы обрисовать общую атмосферу борьбы против тотального учета и контроля, присоединим к протоколу беседы образец публицистики того времени, еще отнюдь не канувшего в Лету.

*Рано или поздно в истории возникают критические ситуации особого рода. Речь идет не о войнах или революциях и не о грандиозных событиях, освещаемых всеми рупорами mass media. Речь идет о решающих экспериментах, которые ставит сама жизнь, обнаруживая ключевое противоречие в системе ценностей той или иной цивилизации. Обнаружившееся противоречие, в свою очередь, может оказаться симптомом надвигающейся переоценки ценностей, предвестником социальной бури.*

*Вот-вот произойдет переход к новому типу удостоверений личности, собственно говоря, он уже идет. Ожидающий нас всех биопаспорт выглядит вполне логичным разрешением множества накопившихся проблем — от ликвидации очередей на всевозможных пропускных пунктах до проблемы терроризма. В некоторых фирмах и корпорациях США уже существуют так называемые Instant Personal Identifications (IPI) — мгновенные удостоверения личности. Они выдаются пожизненно, их бесполезно похищать и невозможно подделать. Будущее принадлежит IPI, и, казалось бы, чего еще можно желать для облегчения жизни законопослушному человеку? Но именно здесь невиданная ранее степень защищенности оборачивается полной незащищенностью, возникает противоречие, которое, если в него вдуматься, приводит к установлению диагноза текущей эпохе.*

*Среди идеалов гуманизма свобода личности занимает одно из первых мест. Практически это всегда означало не отмену ограничений, а проницаемость препятствий, стоящих на пути само-го определения. Равенство возможностей состоит в том, что существуют ясные правила преодоления препятствий: каждый может с ними ознакомиться, выбрать свою стратегию и быть уверенным, что никто не обойдет его через «черный ход». Чтобы ничто не стесняло свободу передвижений (в том числе и карьерных), все ступеньки социальной лестницы должны быть хорошо освещены, отсюда и важнейшее требование демократии — требование прозрачности.*

Скажем, демократическое государство характеризуется прозрачностью решений, принимаемых на всех уровнях. Мировое сообщество настойчиво борется за прозрачную и предсказуемую политику; те же достоинства должны отличать и здоровую финансовую систему. Вообще любой успех получает признание лишь в случае прозрачности его траектории. Мир гуманистической утопии должен представлять собой паноптикум, обозримую со всех сторон площадку. При этом главное недоговаривается, хотя и подразумевается: идеальными обитателями такого мира могут быть только прозрачные существа — лояльные политкорректные граждане, которые не таят в себе ничего непредсказуемого и вообще ничего не таят. Тайна — удел несовершенного человечества, недостойного жить в эпоху глобализма. Сточки зрения гуманистической утопии само сокровенное (то, что подлежит сокрытию) — это несовершенство человеческой природы, а всякое таинство есть прибежище того, кому есть что скрывать. Неслучайно сегодня любой политик, провозглашая свою близость к идеалу, заявляет: мне нечего скрывать. Тем самым как бы опробуется принцип паспортного контроля ближайшего будущего: пройдет лишь тот, кому нечего скрывать.

В этом пункте идея прозрачности и предсказуемости наконец сталкивается с другой излюбленной идеей либерализма — с принципом невмешательства в личную жизнь (идея *privacy*). Столкновение, безусловно, вызывает протест, но протест, во-первых, достаточно вялый, а во-вторых, запоздалый. Процесс упразднения сокровенного зашел слишком далеко и стал необратимым, поскольку успел породить новую, упрощенную модель сборки субъекта, модель, не предполагающую непроницаемости внутреннего мира. Странная вещь случилась прежде всего со свободой. В социальном пространстве, которое показалось бы очень тесным и стесняющим движения тем, кто привык бороться за свои права и отстаивать собственную суверенность, новые законопослушные обитатели чувствуют себя вполне свободно. Парадокс этот имеет простое объяснение, звучащее, однако, как приговор современному обществу: там, где трехмерным существам со всеми их тайнами и личностными особенностями было бы не разместиться (они бы на каждом шагу натыкались на барьеры), одномерные и к тому же прозрачные создания прекрасно помещаются, не задевая друг друга. Они ведь прошли школу политкорректности, которая как раз и учит двигаться вдоль стеночки, никого не задевая. А тот, кто занимает слишком много места в своем самоопределении и не просвечивается лучами *IPI*, тот попросту не пройдет через паспортный контроль и не будет допущен в новый глобализованный мир.

Идея мгновенной идентификации, активно внедряемая в жизнь уже сегодня, стала вполне логичным продолжением гуманистической линии развития западной цивилизации, и одновременно она обнажила изнанку гуманизма, о которой предпочитали не говорить и даже не думать.

Существует любопытный тест, демонстрирующий скрытый смысл основополагающих европейских ценностей. Случилось так, что во время похода принц и нищий легли спать недалеко друг от друга и во сне поменялись телами. Нищий проснулся в теле принца, а принц, соответственно, в теле нищего. Принц быстро обнаружил подмену и тут же убедился, как нелегко будет объяснить трагическое недоразумение и убедить окружающих в том, кто он на самом деле. Он перепробовал всё, пытался говорить с родными, с министрами и с простыми слугами — никто не захотел его даже выслушать. Принц понял, что его настойчивость не только ни к чему не приведет, но и увенчается либо эшафотом (если кто-нибудь все-таки поверит), либо сумасшедшим домом (если не поверит никто)...



*Вывод прост: тело является решающим аргументом. Но заметим: решающим аргументом только для европейской цивилизации. Для большинства архаических культур решающим аргументом является предъявление опыта другого проживания. Воспоминаний принца было бы вполне достаточно, чтобы ему поверили — также, как верят соплеменнику, в которого вселился дух шамана, как верят и самому шаману, рассказывающему о своих странствиях в других мирах. Верят, поскольку духовный опыт важнее телесной определенности.*

*Решительное предпочтение именно телесной определенности есть, по существу своему, репрессивная мера, ограничивающая свободу самоопределения индивида. И это лишь первое, изначальное проявление скрытой репрессивности, на которой основывается гуманизм западного образца. Биопаспорт (IPI), наоборот, представляет собой последнее по времени ограничение непредсказуемости, последнее ужесточение рамок признаваемой человеческой сущности. Между ними располагаются в ряд множество «примет цивилизованности»: приоритет удостоверения личности над самой личностью, пресечение попыток отказаться от биографии (если она мешает и не нравится) и жить другой жизнью, вообще принципиальное подавление любых восстаний против документа — как будто документ важнее еще незавершенной жизни и имеет право определять ее до мельчайших деталей. Такова изначальна репрессивная изнанка демократических свобод, смиренная рубашка, которую постиндустриальное общество считает своей повседневной одеждой, приходящейся как раз впору. Если, конечно, не делать резких движений — да ведь никто их и не делает («Гирлянда желтых лютиков»).*

Как бы там ни было, но борьба против тотальной паспортизации, которую вели бланкисты, получила поддержку многих сил, в других отношениях весьма далеких от идеалов движения. На стороне нестяжательских общин выступили многие христианские организации, и прежде всего Русская Православная Церковь: ее наиболее преданные прихожане начали борьбу против штрих-кодов, ИНН и электронных паспортов еще до появления отрядов Бланка.

Уже через три-четыре года взаимная поддержка и настойчивость позволила ослабить обруч тотального контроля над гражданами («смягчить режим заключения», как говорит Колесо). Сыграла свою роль и солидарность антиглобалистов, значительная часть которых влилась сегодня в ряды нестяжательского движения.

Благодаря неослабевающим протестам «навски зарегистрированных», толоконные лбы вздрогнули и призадумались. Тем временем охотники племен и вольные странники, пользуясь симпатией сочувствующих и их мощной компьютерной поддержкой, в целом решили проблему фантиков. Изобилие бланков самых различных документов, проходящих через круговорот подвесных обменов, хорошо организованный и немалый по своим масштабам обмен настоящими документами, а также появление в большом количестве виртуальных суверенитетов и соответствующих виртуальных гражданств (признаваемых друг другом и даже некоторыми традиционными субъектами международного права) — все это превратило работу пограничников и прочих фантиколюбив в настоящую пытку или, лучше сказать, в лотерею. Некоторые КПП стали пропускать под денежный залог, другие перекалывались на исключительный «фейс-контроль», пропуская знакомые лица, которые под свою ответственность могут проводить спутников. Так получил распространение институт проводников, оказавшийся довольно эффективным для небольших КПП.

Зато статья о привлечении к уголовной ответственности за подделку документов подверглась изменениям почти во всех законодательствах. Дело здесь, разумеется, не в юридических аргументах сочувствующей стороны, хотя речь адвоката Джейн Ригли в суде штата Флорида вызвала определенный резонанс.

*Представьте себе, что вы купили конфеты и решили их подарить. Но обертки вам не понравились, вы придумали свой дизайн для фантиков и завернули конфеты в собственные бумажки. Разве справедливо сажать за это человека в тюрьму?*

*Или лучше вообразите, что вы купили бутылочку бренди и перелили ее содержимое в пластиковую бутылку из-под пепси. Просто потому, что вам нравится, прогуливаясь по улицам, отхлебнуть глоток-другой. Многие у нас в штате так поступают, ведь использование тары с фирменной этикеткой доставляет известные неудобства. Разве в этом случае полиция имеет право вас задерживать, даже если доказано, что в вашей бутылке отнюдь не лимонад? Нет, полиция смотрит на это сквозь пальцы и поступает мудро. Вот и эти странные люди время от времени наклеивают (apply) на свою личность другой ярлычок, чтобы избежать неудобств с обеих сторон. За что же их отправлять за решетку?*

Понятно, что судьи пропустили казуистику Джейн Ригли мимо ушей, это для дезертиров ее аргументы очевидны. Однако один аргумент возымел действие: *многие у нас в штате так поступают*. Еще как многие! Если сегодня закон о подделке документов применять в прежнем виде, арестовывать пришлось бы сотни тысяч — для содержания и тюрем не хватило бы. Ведь вольному охотнику племени хоть убей не втолкуешь, что выданный ему однажды фантик следует беречь как зеницу ока... Законодателям и уж тем более стражам закона пришлось в конце концов как-то считаться с новой реальностью. Редакция соответствующей статьи УК теперь обычно формулируется как «подделка документов в корыстных целях», а уголовное преследование осуществляется «по факту наступивших последствий». Что, безусловно, можно рассматривать как победу нестяжателей, ибо они утратили интерес к корыстным целям. Но отнюдь не интерес к жизни, наполненной приключениями, и если учесть, что драйв странствий является одним из самых мощных и для кочевых племен, и для кочевников-одиночек, можно отметить, что мир стал для них более благосклонным.

Продолжаются также исследования практики глубинных обменов. В «гирляндах» частенько попадают тексты на эту тему — вот что, например, пишет Сова, один из петербургских бланкистов, разделяющих марксистские позиции.

*Увлечение греческими атомистами не было для Маркса просто проявлением случайного юношеского интереса — оно, как справедливо заметил Бланк, имеет прямое отношение к самой сути коммунизма. Так, в диссертации Маркса мы читаем: «Человеческая чувственность... образует ту среду, в которой, как в фокусе, отражаются процессы природы и в которой они, воспламенившись, излучают свет явлений».*

*Этот свет не оставляет места для укромных уголков сугубо индивидуальной чувственности, принцип частной собственности проявляется здесь как минимализм, а отчуждение своей персональной порции сенсорики предстает как кража, как ущерб, наносимый непосредственно человеческой сущности. Вот источник первородного греха частной собственности.*

*Много недоразумений связано с материализмом Маркса. В действительности его материализм не означает приоритета материальных интересов в духе традиционной политекономии: материя — это прежде всего материя чувственности, которая, «воспламеняясь, излучает свет явлений». Она же является и «материей коммунизма» и как таковая, конечно же, первична по отношению к эгоистическому сознанию, возникающему из присвоения отдельного участка обмена веществами жизни. Для Маркса эгоистическая установка, специфическая интенция алчности,*

*отнюдь не исходна, она есть результат отпадения индивида от общественно-исторической сущности человеческого существа, от тела коммуны.*

*Лишившись подпитки из чувственного универсума, заключенное в единичное тело сознание начинает воображать, будто забота о другом, чувство товарищества, классовая солидарность суть всего лишь формы добровольного самопринуждения. Другую реальность милосердия, кроме взнудания воли, эти протестанты-единоличники во главе с Кантом были неспособны даже представить — и по сей день неспособны. Их бытие и эгоистическое самочувствие определяет и соответствующее зацикленное сознание, а материя коммунизма — не как предмет мысли, но как повседневная очевидность — исцеляет частичных индивидов, приобщая их к целому. При этом задействуется не усилие воли, а чувственная достоверность взаимопонимания и заботы. Сегодня эту достоверность может испытать каждый, кто рискнет влиться в ряды нестяжательского движения. Маркс же вычислил ее теоретически, и, опираясь на его догадки, мы можем теперь сформулировать конспективное определение коммунизма: коммунизм — это объективная реальность" данная нам в коллективном ощущении.*

Понятно, что Сова представляет марксистское крыло нестяжателей. Это направление хоть и является достаточно влиятельным, однако не доминирует ни в теории, ни в практике нестяжательского бытия. Подавляющее большинство племен не ведет оседлого образа жизни—в этом, помимо всего прочего, их отличие от «генералов песчаных карьеров» и подростковых банд недавнего прошлого. Как правило, небольшое стабильное ядро общины пульсирует, поглощая и вновь выбрасывая протуберанцы, которые конденсируются в ситуативные группы, образуя живую кромку антропогенеза. И это не говоря уже про одиноких вольных охотников, чья подвесная трасса простирается от Петербурга до Буэнос-Айреса. «Распыленные», орбитально-космические тела общин нисколько не похожи на сталинские колхозы или израильские кибуцы. Однако материя коммунистической чувственности, безусловно, входит в состав этой космической пыли — прежде всего как причастность к незримому единству всего движения. Многие коммуны, особенно в Германии и России, напоминают «маленький Чевенгур», но главное — открытость сквозным пограничным обменам. Если обмен *веществами жизни* возможен с первым встречным, он перестает быть первым встречным и становится товарищем, независимо от того, обменялись ли путники парой слов, удостоверениями-фантиками или другими фенечками.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Пятый элемент

Неожиданное присоединение к нестяжателям шейха Хаам аль-Лехта из Эль-Синора станет, возможно, весьма важным пунктом в истории движения. Вплоть до сегодняшнего дня мусульмане оказывали и продолжают оказывать самое стойкое сопротивление процессам нового социогенеза. Исламский электорат Европы наиболее решительно настроен в отношении мер по «искоренению бродяжничества». Специальные подразделения армии Пророка оказывают постоянную помощь периодически активизирующимся блюстителям закона и, кроме того, совершают собственные рейды. Правда, в джунглях, в отличие от университетских аудиторий, их воспитательно-исправительная работа не приносит особого успеха. В последнее время рейды почти прекратились, поскольку было замечено, что не все возвращаются из этих походов такими же правоверными мусульманами, какими туда отправлялись.

Тем не менее число мусульман среди «дезертиров» крайне незначительно, а в таких огромных мегаполисах, как Джакарта или Карачи, организованных нестяжательских группировок нет вообще. В этом смысле решительный шаг, сделанный после долгих раздумий Хаам аль-Лехтом, знаменателен: все-таки речь идет об одном из руководителей Эль-Синора, главе всех шиитов Европы и наследнике самого Хуррари. Показательно и то, что единоверцы шейха впали не в ярость, а в уныние, если не сказать в раздумье. Существует несколько версий поступка Хаам аль-Лехта (сам он, примкнув к лондонским *пиктам*, из джунглей пока «не выходил»). По одной из версий, выбор еще юного шейха предопределила несчастная любовь — от нее, как известно, не спасает даже знание наизусть всех сур Корана. По другой версии, причина ухода — тривиальная ссора с улемами по поводу распределения властных полномочий.

Но многие полагают, что шейх отправился на поиски Махди, сокрытого 12-го имама. Европейские шииты уже и раньше высказывали мнение, что Спаситель скрывается на задворках цивилизации, где-то среди сквотов, руин и населяющих их варваров. Для того чтобы вернуться и преобразовать мир, Махди должен быть опознан, а истинно верующим следует подготовить ему путь. Согласно одному из хадисов (преданий Пророка), Избавитель Махди «придет во времена несправедливых халифов, когда власть неверных падет, но правоверные будут в ссоре друг с другом». Там же сказано, что Махди «сокрушит властолюбцев, но вознаградит неимущих, не потерявших веры и бодрости духа», — Махди разрушит халифаты, и живущие будут жить не в государствах, неспособных сохранять праведность, а просто «среди людей».

Наконец, высказывается мнение, что Хаам аль-Лехт (ведущий происхождение от самого Пророка) и есть сокрытый имам, который не был узан и потому сокрылся в последний раз. Так или иначе, среди уммы возникло смущение. С другой стороны, бланкисты охотно говорят, что это «двенадцатый боевой симулякр Бланка», запущенный в действие из стратегического резерва раньше прочих, поскольку эффект от его применения требует большего времени...

Таким образом, несмотря на множество остающихся проблем и даже на общую неясность исхода противостояния, можно подвести некоторые промежуточные итоги. Воспользуемся для этого недавним исследованием Евы Кукиш, которое получило название «Пятый элемент».

*Почему современные нестяжатели продвинулись гораздо дальше, чем все их исторические предшественники? Ответ достаточно прост, хотя и непривычен пока в качестве теоретического объяснения: все дело в уникальной, «правильной» комбинации стихий-элементов. Хотя подобная точка зрения ведет свой отсчет еще от Демокрита и Левкиппа, высказывается она достаточно редко: одним из немногих философов, подчеркивающих роль глубинной комбинаторики, был Шопенгауэр. В книге «Мир как воля и представление» присутствует эскиз теории, согласно которой множество преобразующих сил находится «в связке», в состоянии стойкой нейтрализованности, обессиленности встречными силами. Выход из связки вызывает всплеск активности, чаще всего катастрофической, — эта активность затем прекращается наступающей нейтрализацией или успокаивается в результате выгорания исходных материалов. Но иногда, случайно или преднамеренно, вырвавшаяся из связки сила замыкается в следующую устойчивую комбинацию, способную извлечь из недр сущего нечто воистину новое. По мнению Шопенгауэра, так, например, было извлечено на свет электричество, дремавшее от сотворения мира среди возможных следствий законов природы. Надо было просто соединить два, три или четыре «проводочка», чтобы заработали в конце концов все электростанции мира.*

Конечно, далеко не все комбинации столь плодотворны, но мы даже не представляем себе, сколько еще великих возможностей в потенциальной комбинаторике первоначал, тем более что концы проводков очень редко «болтаются», они не свисают свободно, а образуют некую привычную инсталляцию, частенько принимаемую за безальтернативность тех или иных законов природы.

В честь классика французского кино такой способ объяснения можно назвать методологией пятого элемента — или просто **пятым элементом**. Случай Люка Бессона как раз показывает, что глубокая мысль в своем начале нередко принимает форму насмешки, пародии или просто шутки. Принцип пятого элемента прекрасно подходит для реконструкции социальной реальности. Возьмем ли мы синхронный срез политики, экономики и культуры или некую историческую длительность социальных процессов, мы непременно обнаружим устойчивые пары (а также триграммы, пентаграммы и более сложные комбинации). Чаще всего они кажутся проявлениями самого естества, чем-то само собой разумеющимся, но в действительности их поддерживает лишь инерция однажды состыкованных стихий-элементов (многие, впрочем, полагают, что сила инерции и есть величайшая сила всего происходящего).

Рассмотрим навскидку несколько устойчивых пар. Например, антиамериканизм (как ядро антиглобализма) и симпатии к исламскому фундаментализму. Второе оказывается почти неизбежным довеском к первому, и наоборот. Но почему, собственно? Почему обличитель Америки, протестующий против ее зловещей роли пожирателя-утилизатора различий, создаваемых культурами всего мира, должен поддерживать армию Пророка? Что мешает ему сказать: «Чума на оба ваши дома!», рассоединить проводки и выйти из политического бессилия? Именно так и поступили бланкисты, положив начало высвобождению «нового политического электричества» (при этом сама политика была предварительно обесточена, выведена из состояния короткого замыкания).

Или другая пара — экономический либерализм и установка на максимальный демонтаж государства. Кто сказал, что эти позиции непременно должны быть в связке? Ведь полисно-государственное начало, освобожденное до пределов возможного от сковывающей втянутости в экономику, освобождается тем самым для трансцендентного творчества — при этом своеобразная красота имперской идеи обретает уникальный шанс реализации. Когда всевозможные частные интересы и прочие параметры слишком человеческого исключены из инстанций имперского представительства, появляется возможность ориентироваться на эстетические критерии. Ведь геополитика это, в сущности, эстетическая дисциплина — так, например, полагали в свое время петербургские фундаменталисты.

Возьмем процессы уже свершившейся и творимой истории. Безальтернативность прошлого является особенно сильным подкреплением для сложившихся комбинаций. Россия воевала с Германией, фашисты преследовали евреев, Израиль все время ориентировался на Америку—заколдованный круг непоправимости. Но «экстраполированная в прошлое» возможность стратегического единения России, Израиля и Германии впечатляет. Эта триграмма радикально изменила бы мир, причем изменение географических границ в данном случае наименее интересно. Нет никаких сомнений, что такое стратегическое сцепление предотвратило бы контрколонизацию, воинство Аллаха не смогло бы даже собраться в боевые порядки, а первый встречный не одержал бы победу над гражданином. Да и созидательная энергия нестяжательства наверняка была бы направлена в другое русло. Однако трансурановые редкоземельные элементы социального уровня не сложились в мозаику исторической событийности, и сегодня они представляют собой всего лишь «отработанные» (в других беспощадных связках) продукты полураспада. Возможность рекомбинации ограничена еще и лимитом времени — Люк Бессон был и в этом отношении прав.

Множество социальных связей носит вмененный характер: стоит сказать «а», как тебе тут же припишут и «б» и «в» и остальные буквы стереотипного словосочетания; принципу **вмененный** поддаются и отдельные личности, и социальные субъекты. Поэтому для того, чтобы отыскать «пятый элемент», нужно высвободить из нейтрализующих связей четыре предшествующих, при этом необходимо еще уложиться в невозобновимый ресурс времени. Тогда может даже оказаться, что пятый элемент сам собой укладывается в конфигурацию образовавшегося проема — и мир внезапно освещается светом расшифрованного имени Бога.

Примерно так и получилось у бланкистов и других дезертиров с Острова Сокровищ. Все элементы нестяжательской практики встречались по отдельности и в комбинации с другими стихиями, которые не просто нейтрализовали их вещую силу, но зачастую не позволяли даже заподозрить ее наличие. Попробуем вначале рассмотреть извлеченные стихии в их чистоте, в той отдельности, в которой некоторые из них оказались неузнаваемыми, а другие просто засверкали неожиданными гранями.

Начнем с христианства. По своему духу и изначальному пафосу это одна из самых нестяжательских религий на свете, словно бы специально предназначенная для бездомных, но отнюдь не раздавленных своей бездомностью и бесприютностью людей (чего не заметил даже Ницше). В стихийной чистоте, в несвязанном виде христианство существовало только три-четыре столетия - это были столетия духовного новаторства, время великого исторического триумфа христианства, в значительной мере определившего потенциал европейской цивилизации от беспрецедентных подвигов веры до открытия Америки и расцвета науки. Затем начались века превратности, когда вещая

сила христианства была нейтрализована и парализована институциями царства кесарева, отцедившими жидковатую кашу из пищи духовной, предложенной Иисусом. Институализованная церковь превратилась в гигантскую Машину Спасения, работающую на холостых оборотах. Воистину удивительным событием ознаменовалась эпоха Реформации: христианство, ставшее к этому времени простой санкцией цинизма (что и обусловило феномен Возрождения), было вырвано Лютером из связки и возведено к состоянию чистой стихии — но лишь для того, чтобы совпасть со своей абсолютной противофазой, с квинтэссенцией стяжательства и духа наживы. Так возникла знаменитая протестантская этика, одухотворившая в конечном итоге мир фарисеев и жлобов, мир, в котором Иисус не удостоился бы даже распятия, а был бы попросту не замечен мало ли шляется бродяг, не способных приносить никакой пользы..

Однако пример этот очень поучителен и достоин отдельного философского исследования, ведь он свидетельствует, что первоэлементы, которые удалось стабилизировать в их точной противофазе, способны активировать огромный заряд преобразующей деятельности, пусть даже в режиме ускоренного истощения изначальной силы. Если представить себе, что девиз «Обогащайтесь!» был бы провозглашен напрямую как идеал и духовная цель общества, он и в малой степени не смог бы стать тем генератором накопления, каким стал призыв «Служите Господу вашему!», понимаемый в духе протестантской этики.

История культов знает множество примеров иррациональных преломлений трансцендентного: жрецы Изида и служители Кецалькоатля, мусульманские суфии и чаньские наставники. Но всем им, равно как и священнослужителям, придуманным Борхесом и Анджелой Картер, далеко до таких воплощений извращенности духа, как *богоизбранные инвесторы и благочестивые менеджеры среднего звена*. Макс Вебер прав: именно им и только им, апостолам собственной противофазы христианства, было под силу создать индустриальное общество, перешедшее затем в постиндустриальную стадию. Они воистину сотворили царство Маммоны — при том, что сам Маммона, действуя от своего имени, никогда не смог бы возвести столь грандиозное и прочное царство.

Между тем свободный радикал христианства, «пойманный» в молекуле пользаприношения, совершил всю *полезную работу*, которую только можно было выжать в условиях хищнической растраты невозобновимого ресурса. Духовный заряд протестантской этики выдохся уже к началу XX века, как это и признавал сам Вебер. К началу следующего столетия первоэлемент христианства был вытеснен из активной противофазы и нейтрализован, «успокоен» цепями социальной инерции. Бланкисты застали духовное начало веры полностью распыленным, а христианское community безнадежно демобилизованным, напрочь забывшим о том, что такое земной вкус трансцендентного.

На наших глазах племена джунглей и прерий вновь приступили к радикализации христианства в некотором, почти химическом смысле, извлекая свободный радикал веры Христовой из инертной молекулы формального благочестия. Мы видим, что новыми душеприемниками вера в качестве *comme il faut* как разновидности службы или процесса производства полезного душеспасительного товара (и в этом качестве неуклонно проигрывающая конкуренцию психоанализу) принципиально не воспринимается; подавляющая часть прежнего наследия просто брошена как нечто неисправимое и мертвое. Сегодня происходит возвращение к самой ранней евангельской развилке, к чистоте первоэлемента, к изначальной стихии, еще не замутненной историческими превратностями. Тем самым духовная практика христианства становится пригодной для новых комбинаций, это особенно важно, учитывая, что контакты других проводков тоже «зачищены». Рассмотрим их вкратце.

В берегающей экономике практика дарения предстает ничтожной величиной, которую можно просто не учитывать в балансе товарно-денежных потоков. Принятые сегодня подарки по своему происхождению суть те же товары: если вдуматься в выражение «массовая закупка рождественских подарков», оно, пожалуй, окажется не менее странным, чем «благочестивый менеджер среднего звена». Потребность дарить перехвачена и фальсифицирована на корню принципами товарообмена, и распознать в ней могучую самостоятельную силу (стихию) отнюдь не просто. А ведь как свидетельствует антропология, потлач, предшествующий берегающей экономике тип дистрибуции вещей, в свое время безраздельно властвовал над обменими. Архаическое дарение было оформлено и, так сказать, обуздано ритуалом, но оно сохраняло открытость вовнутрь, психологическую достоверность причастности к стихии. Дилемма «быть или иметь», сформулированная Фроммом, не может возникнуть, когда сама жизнь (непосредственный обмен веществами жизни) предстает как иллюминация дарения. Сбереженное, сэкономленное бытие, подтверждаемое накоплением вещей и противостоящее трате, безоглядной *предъявленности к проживанию*, — это дилемма именно общества потребления, где всепроникающая экономия становится наконец экономией самой жизни. Время не тратится понапрасну на беспечное проживание, а конвертируется в сумму вещей, имеющую определенное денежное выражение.

Сэкономленное, то есть изъятое из авантюры, странствий, из коллективной чувственности, время сбрасывается в лихорадочный шопинг, замещающий все прочие модусы расходования себя, своего основного витального ресурса. Логика накопления-сбережения вытесняет дарение из больших обменов и расфасовывает его по малым автономным кругам: мы видим круг внутрисемейных обменов, ритуальный микропотлач (подарки к Рождеству, к 8 Марта), круг обслуживания юбилеев...

Реформа, утверждающая и санкционирующая противоестественный ход вещей, приживается далеко не сразу: как отмечал историк и антрополог Борис Поршнеv, европейское хозяйственное право Средних веков изобилует актами, запрещающими и законодательно ограничивающими дарение. Благо-дарность как принцип заменяется принципом эквивалентного возмещения. Но успешное обуздание дарения, его вытеснение из числа основных движущих сил социального метаболизма вызвано даже не самой по себе «неблагодарной» товарно-денежной эквивалентностью, а тесно связанными с ней психологическими преобразованиями. Стяжателям удалось сформировать настороженное отношение к дару — причем и здесь решающая роль принадлежит протестантской этике. По *логике вещей* дар, поскольку он персонифицирован, провоцирует благодарность и вообще обязывает, при этом характер обязывания плохо поддается количественным оценкам. Отсюда проистекает стремление уклониться от дара, в частности и для того, чтобы избежать неосвоенного психологического состояния. Уклонение от благодарности столь же типично для подданных диктатуры золотого тельца, как и уклонение от риска. Высвободить могучую стихию дарения из обессиливающей ее связки удалось бланкистам — и это деяние смело можно сравнить с освобождением прикованного Прометея.

Еще одним первоэлементом, выделенным из устойчивой молекулы текстопроизводства, стал *самовозрастающий логос* — тот самый, о котором говорил Гераклит. Господство собственности, сделавшее сакральным режим выгодных инвестиций, превратило логос во взбесившийся знак, в вирус авторствования, паразитирующий в духовной среде и использующий субъекта для наращивания собственного тела. На протяжении тысячелетий лучшие движения души *изымались из полноты жизненного мира* и оседали в объективациях — в произведениях,



принадлежащих автору на правах собственности. При этом отдельные инвестиционные проекты, признанные произведения, демонстрировали высочайшую степень эффективности, не сравнимую ни с какой другой формой накопления, ведь они обеспечивали автору посмертное иноприсутствие в человеческом мире (представлявшееся одновременно и подлинным и вечным), соблазняя к авторствованию миллионы вдохновенных душ. Так выглядела и выглядит до сих пор диктатура взбесившегося знака, господствующая над всем универсумом духовных устремлений, — нигде кризис перепроизводства не достигал таких фантастических масштабов, как в сфере текстопроизводства. Что уж говорить о проблеме сбыта...

Между тем логос как первоэлемент представляет собой простую, но неустранимую любознательность — в чистом виде это пожизненная сохранность детского любопытства. Именно ее имел в виду Аристотель, начиная свою «Метафизику»: *Все люди от природы стремятся к знанию. Извращение этого благородного человеческого устремления есть одно из тяжких преступлений общества, где безраздельно господствует нажива.* Сам разум, преобразованный в «творческое эго», предстает как универсальный множитель текстов, он становится инструментом стяжательства, священной санкцией товарной формы продукта.

Радость искусства, столь же органичная, как радость весны или разделенной любви, обходящаяся без сковывающего напряжения рассчитанной, *правильно вложенной инвестиции*, возникает лишь в случае обретения стихии логоса в ее первозданной чистоте. Шаг к высвобождению из тысячелетней принудительной связки был сделан уже интернетом, хотя бы частично уравнившим в правах читателя и писателя, — подвесная культура подхватила и развила эту тенденцию. Нестяжательская духовная практика имеет дело со стихией логоса, который не искалечен суровой аскезой, а распределен в повседневности, одухотворяя обыденность текущего времени, вместо того чтобы уходить в слепой коридор авторствования. Свободное присутствие логоса в каждом моменте здесь и сейчас учит оглядываться по сторонам, делая это занятие осмысленным и интригующим. «Польза» тут, разумеется, отсутствует, но ее отсутствие принципиально, как в определении, которое Аристотель дает философии: «Из всех наук эта самая бесполезная, но лучше ее нет ни одной». Искусство празднования (прямо противоположное намерению «посмотреть кой-какого товару») приобретает тем самым философский характер, — и похоже, что философия неплохо себя чувствует в разреженной атмосфере прогулок и странствий: она теряет кабинетные ужимки сугубой учености, зато обретает возможность проникать в среду встречных вещей и событий. Само количество событий при этом неизмеримо возрастает, освобожденный логос приносит ответный дар своим освободителям — и это *дар внимательной жизни*.

Нельзя обойти молчанием и любовь, которая в фильме Бессона и была, собственно, пятым элементом. Для нестяжательских племен она скорее элемент первый — и в то же время элемент наименее измененный, более всего узнаваемый. Ведь преобразующая сила любви во все века легко размыкала хватку Маммоны — иначе сегодня просто некому было бы проверить достоверность нового бытия. Всякий влюбленный и любящий становится похожим на вольного нестяжателя, под влиянием интенсивного чувства впадая на короткий срок в то состояние, которое для городских бродяг является родной стихией. Как гласит любимое граффити общины чижиков (фрагмент четверостишия Хайяма):

Если ад ожидает влюбленных и пьяниц,

Рай окажется завтра пустым, как ладонь.

Все страдания и переживания, свойственные земной любви, представлены и в джунглях мегаполисов (в отличие от чуждых нестяжателям страстей шопинга и

одержимостей маниакального авторствования) — тут есть и нежность, и муки ревности, и глубокий эротический драйв. Есть, однако, и существенные различия. Самое существенное из них состоит в том, что свободные люди племен имеют *больше времени на жизнь*, а следовательно, и на любовь. Чувственное единение друг с другом осуществляется не урывками, по принципу «делу время, а потехе час» (ведь для дезертиров все дела Острова Сокровищ представляют собой потеху, хотя и не очень потешную), а как нечто исключительно важное, занимающее высшую строчку в иерархии ценностей.

Другая особенность, сразу же бросающаяся в глаза, это полная исключенность из эротического проекта каких-либо проявлений гнездостроительного инстинкта. Ведь если мы рассмотрим интерьер чувственной любви, неизменно присутствующий в черте оседлости, мы легко выделим две темы сопутствующего воркования: 1) как мы построим/обставим наш домик (квартиру, дачу, фазенду, etc.) и 2) давай куда-нибудь поедem/уедем, и как там будет хорошо. Первая тема для нестяжателей абсолютно не актуальна по определению, и все сэкономленные по этому поводу переживания инвестируются непосредственно в чувственную составляющую любви. А вторая тема нелепа в качестве предмета мечтаний, поскольку представляет собой некую непосредственную реальность. Ведь и так ясно, что завтра мы «куда-нибудь поедem» или пойдem без неременной гарантии возвращения. Мы можем сделать это прямо сейчас, поэтому нет нужды проигрывать в воображении заезженную в черту оседлости пластинку.

Воображение, освобожденное от обсасывания долгоиграющих леденцов, и чувственность, избавленная от бесконечного откладывания, меняют способ бытия в стихии Эроса. Любовь предстает как непрерывное эротическое странствие, в котором каждая встреча имеет, помимо всего прочего, и эротическую окраску, а симбиоз логоса и эроса возникает совершенно естественно, без какой-либо сублимации. В совместном странствии каждая находка (разумеется, и *творческая находка* тоже) есть, прежде всего, повод порадовать друг друга. Разделенная радость обладает вещественностью, объемностью и зримостью — неудивительно, что она легко вытесняет скромное обаяние воображаемого тыквостроения.

Чистые стихии, вновь соединяемые друг с другом в своей первозданности, как раз и представляют собой социальное творчество — *стихийное творчество масс*, о котором так любили толковать идеологи пролетарской революции. Процесс рекомбинации опорных элементов социальной реальности стихийен по определению — и все же его нельзя назвать чисто случайным, им правит неуловимая интуиция, что особенно заметно на стыке экзистенциальных кубиков. Две существенные проблемы встают перед творцами. Во-первых, проблема тяготения очищенных реагентов к прежнему, инерционному положению, куда их всеми силами влекут могущественные группы поддержки, и во-вторых — лимитированная временем необходимость нахождения какого-нибудь завершающего *пятого* элемента, без чего невозможно замыкание в устойчивую, хранимую свыше пентаграмму.

Мы пока даже не знаем, встроен ли уже недостающий элемент в комбинацию, определяющую новый виток социогенеза, или этот элемент еще только предстоит найти. Не исключено, что всё уже на месте и мы просто пока не можем разглядеть масштабы явления, не совпадающие с масштабами нашей персональной смертности. Ведь очевидно, что влияние нестяжательских практик растет и их присутствие в мире ширится.

Вот, например, заповеди Иисуса — сегодня они приняты всерьез — не в качестве теологических тезисов, а как практические советы старшего товарища. Если уж совсем

кратко попытаться суммировать вклад городских бродяг в «истолкование» христианства, можно сказать, что *вера в Иисуса* уступила место *вере Иисуса*. Они, его сегодняшние последователи, попросту верят в то же, что и он, — в бессмысленность стяжания земных сокровищ, в великое преимущество птиц небесных и цветов Господних, которым нет нужды заботиться о своем убранстве; верят в то, что, отойдя от негостеприимного порога, следует просто отряхнуть прах с ног своих, — верят хотя бы потому, что и сами так живут. И имеют возможность каждодневно убеждаться в том, что Спаситель прав. Охотники племен, читая Евангелия, интуитивно различают то, что адресовано *своим* — таким же скитальцам, спутникам Иисуса, и то, что адресовано *urbi et orbi*, обитателям встречного мира, до которых еще нужно донести Весть. Во втором случае, конечно же, требуются подробные пояснения и доходчивые примеры. Путешественник не станет подробно описывать своим товарищам по странствию то, что они и так видят своими глазами, хотя, конечно, у него найдется о чем с ними поговорить. Но, составляя «отчет о командировке», предназначенный для тех, кто никуда не выходил, исполнитель миссии опишет достопримечательности во всех подробностях, он вынужден будет сделать еще многое, восполняющее нехватку непосредственной очевидности. Все дело в том, что прочно укорененные обитатели мира сего читают отчет, *оставаясь дома*, а вольные странники сопоставляют происходившее с тем, что происходит сейчас, и нередко узнают знакомые горизонты, ибо их взгляд открывает панораму примерно с той же позиции. Вот почему слова Августина «душа по природе своей христианка» воспринимаются нестяжателями как простое эмпирическое обобщение, что-то вроде наблюдений типа «хорошо выпавшемуся легче дается дорога». И в этом смысле дезертиры с Острова Сокровищ — это просто *люди Божьи*, овцы, которые никуда не терялись. Их царствие не от мира сего, и за Отцом Небесным они следуют, как за старшим товарищем.

Вроде бы стихийное творчество масс (в данном случае творчество религиозное) всего лишь изменило акцент в трактовке, предложив вместо созерцания Истины созерцание мира через имплантированный хрусталик Истины. Однако вера тут же обрела вещую силу, которая никак не давалась созерцателям Истины, склонным все время откладывать ее обретение. Непосредственное востребование Истины в качестве элемента повседневной жизни восстановило дух первоначального христианства, открыв простор для импровизаций, без которых не может обойтись ни одно живое приложение. Только мертвая буква канона боится любых новаций в принципе, поскольку не располагает средствами для сравнения будничной чеканной монеты с эталоном, хранящимся в сейфе, закрытом на надежный замок. Мудрствующие мира сего всегда полагали, что сейф откроется тому, кто наберет правильную последовательность знаков, составляющих сокровенное имя Бога. Уже более двух тысяч лет продолжают они свою каббалистику и гематрию. Эти мудрствующие настолько погружены в увлекательное, таинственное занятие, настолько внимательны, что не заметили, как вместо священных букв им подсунули пробки от пепси-колы и вкладыши от шоколадных батончиков. Теперь, возможно, они наберут правильную последовательность, и бог, имя которого они прочтут, несомненно, озолотит их. Но истина состоит в том, что Иисус не оставил никакой записи любителям «кодов да Винчи», пусть даже имя им легион. И царство, сокровища которого хранятся в кладовых, закромах и сейфах, — не Его царство.

Официальный Ватикан, разумеется, сопротивлялся до последнего, но сегодня позиция клира меняется. Новообретенных прихожан поддержало большинство кардиналов Латинской Америки, а служители подвесных храмов уже не исторгаются из лона церкви. Сама же духовная практика нестяжателей решительно игнорирует разделение церквей. Благодаря преобразованию повседневности вера обрела сущностное соседство с родственными ей модусами бытия. Сразу же обнаружилась действительная родственность любви, которую Иисус провозглашал главным

содержанием веры. Этот принцип, однако, приходилось истолковывать и пояснять, при том что *любовь к ближнему* воспринималась как достойная, но все же нелегкая задача. Образ веры во многом зависит от образа жизни, и чем ближе образ жизни к той жизни, которую вел сам Христос, тем понятнее, точнее говоря, очевиднее становятся некоторые требования религии. Скажем, проповедники нередко обращались к вопросу «Почему пост отменяется для тех, кто находится в пути?», пытаясь, каждый на свой лад, растолковать эти особые обстоятельства. Им, однако, не приходило в голову элементарное соображение, очевидное для вечных путников: пост вовсе не отменяется для пребывающих в дороге, он, напротив, вводится для тех, кто застрял в капканах мира сего. Так же обстоит дело со многими притчами, например с теми, где Иисус обращается в своих сравнениях к бережливости и накоплению, — образцом может служить притча о предусмотрительной деве. Для нестяжателей такая система сравнений не работает, она для них, мягко говоря, не убедительна. Однако люди джунглей прекрасно понимают, что речь идет о вразумлении неразумных, для чего и приходится обращаться к понятной вещеглотам мотивации: ведь точно такие же вещеглоты с изумлением смотрели, как Иисус расходует драгоценное миро... Лидеры движения и сами прибегают к подобным сравнениям (за исключением, пожалуй, Парящей-над-Землей) — и по тем же причинам. И при этом расходуют «драгоценное миро», не задумываясь, не испытывая ни малейших сомнений на этот счет.

Обычай избавления от излишков столетиями существовал в извращенной форме раздачи милостыни и коррумпированного экономикой дарения. Подвесные обмены кардинально изменили ситуацию, став самой надежной в истории земной санкцией беспечности. Но решающая роль и в этом случае принадлежит исключительно благоприятному сочетанию элементов, обусловившему синтез автономного и очень притягательного бытия. У нестяжателей отсутствуют *закрома*, а их экипировка должна быть пригодна и для дальних странствий, и для быстрых перемещений — тут подвеска становится попросту самой рациональной формой депонирования излишков. Но взаимный резонанс уникального сочетания продолжается -подвеска служит подтверждением действенности наставлений Иисуса; взятые по отдельности, эти элементы едва ли смогли бы произвести такой эффект.

То же относится и к подвесной мобильной культуре, хорошо утоляющей духовную жажду странников. Гелиос не раз прибегала к образу *музыкальной шкатулочки*, чтобы объяснить выход из архива в принципиально не архивируемый мир. Выглядит это примерно так.

Представь себя в своей персональной замкнутой музыкальной шкатулке, то есть в недоступной другим комнате, студии, колыбели. На полках стоят твои любимые книги с закладками, можно взять любую на ощупь. Вся музыка, которая тебе нравится, — под рукой. Кофе, сигареты, видео-аудио, наконец, компьютер — все рядом. И ничего не раздражает. Такой нарциссический аквариум — словом, музыкальная шкатулка: мир, существующий по твоим законам и правилам. Где бы ты ни оказалась, тебе непременно захочется вернуться сюда и чаще всего — как можно скорее.

Но человек устроен так, что весь свой нарциссический рай он готов поставить на карту ради другого, ради выбора объекта, как говорил Фрейд. Почему же этот другой, этот кто-то — неудобный, дискомфортный, временами просто отвратительный, не дающий покоя, почему он так важен нам, что мы бестрепетно открываем для него крышку и шкатулка играет приветственный марш? Или сами навеки покидаем свою сладкую родину и уходим вместе с ним (с ней)? Этого мы не знаем, знаем лишь, что дело обстоит именно так.

На воле, в джунглях мегаполисов, вроде ничто не напоминает нашу шкатулочку. И все же есть неуловимое сходство... или, может быть, настоящая альтернатива. Рука

протягивается не к любимой полке, а к ближайшей желтой ленточке, при этом извлеченное произведение может вовсе не понравиться. Но ведь оно кем-то персонально предложено и, значит, кого-то задело, его можно тут же обсудить. Другие всегда рядом, и каждый день приносит тебе порции настоящих новостей — все они в каком-то смысле новости о тебе. Прежде книги были на полках, новости в телевизоре, а другой в воображении. Все было консервированным и пастеризованным, включая и наслаждение. Теперь — все свежее, задевающее за живое. Жизнь в шкатулке временами по-прежнему влечет, можно, пожалуй, провести в ней краткосрочный отпуск, не более того. И мы наконец понимаем, в чем тут дело. Дело в том, что при всех своих тихих радостях это *загробная жизнь* — и, может, нам когда-нибудь предоставят ее в виде бонуса. Пока же нам предоставлен куда более редкий и прекрасный шанс *жизнью пожить* (ибо все мы *смертью умрем*, как говорит Библия), и выбрать участь заживо погребенного — не самое предусмотрительное решение.

Парящая-над-Землей в свойственном ей стиле точно обозначает суть дела. Пока действует безальтернативность целей потребительского общества (поддерживаемая гипнотическими усилиями Гидры), приватная шкатулка представляет собой отдушину, палату ежедневной персональной реанимации. Но обретенный мир построен на прочных основаниях. В нем осуществляется не только бытие-вопреки — новое единство стихий-первоэлементов складывается в собственную автономность, возникает самодостаточность нестяжательской вселенной, безотносительная к сложившемуся ходу вещей. Дети, выросшие в обмане, все еще адаптированы к нему, как к земному тяготению. Но и они уже начинают чувствовать притяжение другой планеты, формирующейся в недрах оскверненной, богооставленной Земли.

Нельзя обойти вниманием и вопрос, который обличители движения считают неразрешимым, хотя обычно приберегают его напоследок, когда у них не остается уже других аргументов. Тогда они, заранее торжествуя, спрашивают, как быть с возобновлением расходуемых ресурсов? Можно сколько угодно издеваться над производителями, можно называть их живыми роботами и вещеглотами — но что вы есть-то будете, во что одеваться, когда храмы пользоприношения закроются, а их послушники и прихожане разбредутся?

За торжествующим вопросом, как правило, скрывается один и тот же контекст, мы, ответственные, полезные члены общества, создаем, а вы, с вашим поперечным бытием, только тратите, расходуете, пожинаяете то, что не сеяли... Обличителей не смущает, что обличают они, в сущности, рекомендации самого Иисуса, которые им никогда не доводилось проверить на практике. Не сомневаются они и в том, что дезертиры с Острова Сокровищ окажутся застигнутыми врасплох. И конечно же, ошибаются: проблема возобновляемых ресурсов была с самого начала одной из главных, тем более для бланкистов. Только вопрос следует правильно поставить.

Начнем с того, что большую часть вины обвинители сваливают с больной головы на здоровую, ведь бессмысленное растраниживание ресурсов — это фетиш именно общества потребления. Стоило бы, например, задуматься, сколько труда, времени, драгоценного вещества самой природы вложено в производство безделушек, — и мыслители, от Николая Федорова до Хайдеггера и Бодрийера, разумеется, задумывались об этом. Охотники и собиратели племен чуть ли не каждодневно сокрушаются о загубленных душах стихий. Они смотрят на витрины с соковыжималками и уплотнителями волос, с горечью сознавая, что ради этих потребительских фетишей оставили пустующими недра, ископав в них все ископаемые. Понятно, что алчные

производители-изводители не пощадили и себя. Так и хочется привести остроумное наблюдение Купрума:

*Я понял, как следует правильно расшифровывать данную Марксом формулу капитала. Она там у него встречается в двух видах: «Д — Д'» и «Д — Т—Д'». Типа деньги — товар — деньги. А «д-штрих» расшифровывают как прибыль, эффект самовозрастающей стоимости. Но я бы первое «Д» расшифровал как **добро** — нечто, предоставляемое нам природой, а как **дерьмо**, результат преобразующих усилий, направленных на придание товарной формы во что бы то ни стало. В итоге формула «Д — Д'» будет у нас означать ускоренный и непрерывно ускоряющийся перевод добра на дерьмо.*

Такие вариации, впрочем, достаточно популярны в народе. Нельзя не отметить, что подвесные обмены обходятся с вещами гораздо бережнее: многие *штуковины*, попадающие в подвеску как уродцы и мертворожденные гомункулы, заботливо *выхаживаются*, становятся предметом пристального внимания, а следовательно, и человеческого опыта. Общество потребления, обвиняя общины в расточительстве и легкомыслии {преступном *легкомыслии*, как любят выражаться публичные обличители), с позиций вольных общин само отличается преступным легкомыслием. Тратя витальные и экзистенциальные ресурсы на производство бесчисленных артефактов, оно почти не востребует прекрасные дары, о которых сам их Создатель весьма положительно отозвался в седьмой день творения. Не пополняется копилка совместной чувственности, скудеет опыт бытия-с-другим, забывается сказка странствий длиною в тысячу и одну ночь. Даже форма произведения как таковая, способная нести в себе великую силу и очарование символического, используется преимущественно как инструмент «Д'-накопления», как файл, который копируют, не открывая. Поскольку для вольных охотников все это действительно очень важные вещи, они не перестают поражаться экзистенциальной неприхотливости благополучных и преуспевающих мира сего, их минимализму в ответственном деле проживания жизни. Иной нестяжатель порой с легким ужасом думает: не дай бог мне впасть в такую нищету...

И тем не менее проблема возобновляемости ресурсов в самом прямом смысле этого слова существует. Нельзя сказать, что она решена полностью, но принципиальный подход к решению был одобрен и принят на съезде в Сингапуре семь лет назад. Тогда некоторые племенные вожди предлагали «не заморачиваться» проблемами далекого и неопределенного будущего и, соответственно, не откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра.

Однако основатели движения, в их числе и сам Бланк, соглашаясь, что в условиях оголтелого вещизма и систематического перепроизводства есть вопросы более актуальные (проблема прочности толоконного лба, например), предложили все же поразмышлять на тему «Что же будет, если производство остановится». Ведь, как бы там ни было, племена пользуются транспортом, походными ноутбуками, родильными домами — да и хлеб насущный не материализуется из воздуха сам собой. В принципе может возникнуть ситуация, когда от дезертиров потребуются вклад в производство используемой ими продукции и в поддержание некоторых инфраструктур.

Участники съезда после короткой дискуссии предложили использовать вахтовый метод. Суть его такова: в джунглях формируются добровольные бригады, которые затем на короткое время *командируются в экономику*. Отстояв вахту ради благополучия товарищей, люди возвращаются на родину, а их сменяет следующая вахта.

Предложение в принципе не встретило возражений, были высказаны лишь сомнения насчет готовых откликнуться добровольцев. В итоге съезд определил несколько городов, где решено было сформировать чрезвычайные вахты и провести учения (в их число попал и Петербург). Опыт показал, что с желающими постоять за товарищей проблем не было. После объявления учебной тревоги призывники, от авиадиспетчеров до профессоров университета, собрались за несколько часов. Конечно, далеко не всем из них удалось заступить на вахту (следует учесть сопротивление городских властей), но те, которым удалось, в принципе без проблем справились с задачей, обеспечив двухнедельное прикрытие.

Так возникла система ГОП (Гражданская оборона племен). К сегодняшнему дню проведено уже несколько масштабных учений без каких-либо серьезных сбоев. В Петербурге, по договоренности с муниципалитетом, сменные бригады ГОПников поддерживали функционирование всех городских инфраструктур в течение месяца — и жители города до сих пор требуют у властей возвращения вахтовиков. Ясно, что вахтовый метод не обеспечит производства соковыжималок с двадцатью режимами. Не годится он и для обслуживания банковских вкладов и для выписывания справок. На такие извращения никто из нестяжателей не пойдет и идти не собирается. Но выпечку хлеба, выход в интернет и даже полет на самолете ГОП, при желании, уже сейчас может взять на себя.

Следует, впрочем, заметить, что Гражданская оборона племен рассматривается как возможная система чрезвычайных мер, до которой вряд ли в действительности дойдет дело. Не потому, что установленный стяжателями порядок останется неизменным, а потому, что создаваемый сегодня техноценоз может быть применен для поддержания автономных систем жизнеобеспечения. Ведь только алчность, управляющая синтезом искусственных потребностей, не знает порога насыщения, — разумные запросы могут быть включены в метаболизм новой среды обитания. По крайней мере, такое поверье распространено в городских джунглях, и опирается оно опять же на евангельские заповеди. Но не только на заповеди - поэт и исследователь Соул Гоун, выражая точку зрения многих общинников, замечает.

*Пока человек учится плавать, ему приходится контролировать чуть ли не каждое движение и он быстро выбивается из сил. Но когда он осваивает **механизм плавания**, он передает этому механизму все механическое и плывет, думая о другом или радуясь дружественности стихии. Нелегко решать вычислительные задачи, но если достигнут уровень, способный обеспечить механизм координации вычислительных устройств, можно довериться этому механизму, ибо он будет опираться на дружественность **вычислительной стихии**, на сущее, которое само себя считает, — у нас же, плывущих, найдутся и другие задачи. Уже сегодня квантовый компьютер позволяет проложить скоростные трассы вычисления в неисчислимости хаоса. Что будет завтра? Посмотрим. Я же предпочитаю довериться самому лучшему футурологу, поскольку уже появились те, для кого он предсказывал. «Никто из возложивших руку на плуг и озирающихся назад не узрит Царства Божия» (Лк. 9:62).*

Когда эти фрагментарные записки сами собой исчерпались и были уже готовы для присоединения к какой-нибудь «желтой гирлянде», я стал свидетелем любопытного, как мне показалось, разговора. Или, скорее, уличного инцидента, где высказывалась только одна сторона.

Все происходило прямо на Литейном мосту. Жизнерадостная пара, девупжа с парнем, поглядывали на небо, на Неву, друг на друга и улыбались. Экипировка, включавшая в себя цветные ленты, веревочные лестницы, повязанные на манер патронташа, и другие, столь же характерные атрибуты, выдавала их принадлежность к бланкистам или, может быть, к близкой по духу нестяжательской коммуне.

Навстречу им шла пожилая женщина, тоже увешанная сумками, наполненными трофеями продолжительного шопинга. Поравнявшись с беспечной парой, женщина решительно остановилась. Не *могу молчать* — вот что было написано на ее лице. Она и не стала молчать, без предисловий набросившись на бездельников с упреками. Ее страстный монолог я не запомнил дословно, но речь была выразительна и исполнена неподдельного гнева:

— ...На других вам плевать, чистота города для вас пустой звук, слезы родителей, наверное, тоже. Хоть себя бы пожалели! Живете где попало, ни кола, ни двора, ничего не цените только оскверняете все *людское*. Глядя на т как вы, все нормальные люди боятся за свои детей... вообще боятся их заводить. И откуда вы взялись такие... ни на что не годные? За что нам такая напасть?

Голос женщины дрожал, по всему было видно, что она не просто так *взъелась*, что в ней задето что-то глубоко личное. Спешившие по делам прохожие оборачивались, некоторые остановились послушать. Невольные виновники инцидента казались слегка смущенными.

— И сказать вам нечего? Бесстыжие! — Поставив сумки на землю, женщина уже яростно жестикулировала.

Действительно, нужно было что-то сказать, как-то отреагировать на ситуацию. Взглянув на обличительницу, затем на свою девушку, парень зачем-то снял рюкзак, тоже поставив его у ног.

— *Зато Господь для нас развешивает сливы*, — сказал он негромко и вновь закинул рюкзак за плечи.

Девушка улыбнулась и поцеловала своего спутника. Женщина замолчала, прервавшись на полуслове. Стали расходиться и прохожие — молча, никак не комментируя события.

Сказать действительно было нечего. Понятно, что большинство свидетелей инцидента не испытывали особых симпатий к инопланетной парочке, у многих наверняка были свои счеты к беспечным бродягам. Но дело вовсе не в этом. Дело в том, что и случайные прохожие, и юная девушка, скорее всего еще школьница, и пожилая женщина, оставшаяся стоять с открытым ртом, и река во всем своем течении, и раскинувшееся над всеми небо понимали: *он прав*. Вот в чем было дело.